

● **ПОШИВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ**

ШАПКА НА ЛЮБОЙ ВКУС:

кубанка, ушанка, боярка, пилотка,
берет...

Украсит женщину и модная шляпа
со скругленной тульей и узкими
прямыми полями.

ЧЕМПИОНЫ популярности —
вязаные шапочки всех цветов,
любой вязки.

«Бытреклама»

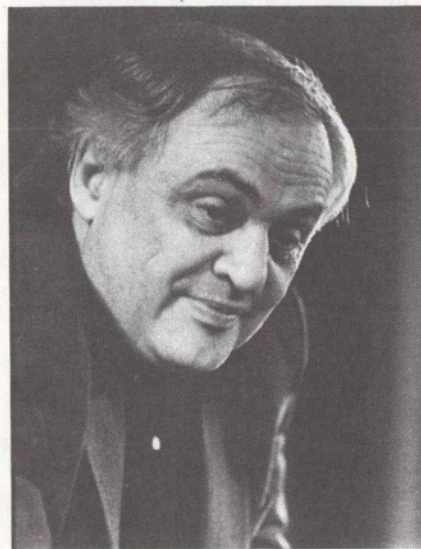
ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1990. № 23. 1—48.



ОГОНЁК

№ 23

1990



Н. ЭЙДЕЛЬМАН

ОТТУДА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Издается с января 1925 года

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

ОТТУДА

Москва. Издательство «ПРАВДА».
1990

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

Н. Эйдельман (Натан Яковлевич) родился в 1930 году в Москве. В 1952 году окончил исторический факультет Московского государственного университета. Работал учителем в средней школе, потом в музее.

С 1962 года начал печататься, с 1969 года член Союза писателей СССР. Автор 20 книг, среди которых наибольшей популярностью пользуются: «Лунин», «Грань веков», «Пушкин и декабристы», «Апостол Сергей», «Последний летописец», «Революция сверху в России».

Профессионально занимаясь русской историей XVIII и XIX веков, Н. Эйдельман напечатал около 300 научных и научно-популярных статей во многих журналах Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Иркутска.

Многие его книги переведены на чешский, польский, венгерский языки.

ОТТУДА

Вздыхать о сумрачной России...

Оттуда — это из Италии, куда автор этой книжки попал на 58-м году жизни («Сказки об Италии» — шутил один из друзей). До того вообще не бывая «за бугром», этот самый автор будет в дальнейшем пытаться недостаток обернуть достоинством, ибо его ощущения, может быть, никогда не явились бы при первом посещении капстраны, если бы оно случилось на 10, 20, 30 лет раньше.

Сохрани Боже от путевых туристских рассказов! Одна из самых пугающих меня фигур — приятель, вернувшийся **оттуда**, который сначала угощает ихней едой (это еще куда ни шло), а затем (или до того) — обязательно слайды, и ты вынужден слушать: «Ах, что за каналы в Венеции!», «Ах, Колизей!», «Ах, Миланский собор!»

Мало кто, повествуя о дальних краях перед теми, кто там не бывал и, может, не будет, — мало кто сохраняет ту деликатность, которую продемонстрировал однажды видный драматург. Свой рассказ об Америке он начал с извинения: «Ребята, мне как-то неловко, вы туда не ездили...»

Накануне путешествия один из друзей моей дочери, инженер, перешедший на работу в таксопарк, проводил меня следующим напутствием: «Отныне я ваш классовый враг: тот, кого пускают в капстрану, уже не мой человек!» Я вроде как стал оправдываться, перечисляя тех, кто раньше совсем не ездил, а сейчас «не вылезает оттуда», и был, кажется, снисходительно прощен...

Чтобы покончить с введением: повод для нижеследующих страниц — месячная поездка по Италии, которую автор совершил вместе со своим другом Юлием Крелиным в связи с выходом на итальянском языке нашей книги «Итальянская Россия» — об Аристотеле Фиорванти, Растрелли, Росси, Кваренги, Гарибальди и других итальянцах, побывавших в России. Мы странствовали месяц — и, конечно, не стоило браться за перо для тысяча первого или миллионного описания знаменитых памятников и пейзажей.

Пейзажи и музеи обойдутся: впитанная ими «энергия» многих любопытствующих поколений, излучаясь, уже сама по себе дает некий эстетический эффект, а иногда даже провоцирует к протесту: пятьсот лет восхищаются «Тайной вечерей» Леонардо, Наполеон просидел перед нею шесть часов — подумаешь! Пойдем, конечно, поглядим, но с огромной предвзятостью, готовые сказать: «Эка невидаль!..»

Пошли, поглядели: оказалось, действительно невидаль! Огромная, странная, притягивающая; реставрационные приспособления почему-то усиливают впечатление, и не сразу понимаешь, что мягкий свет излучается не самую фрескою, а невидимым электрическим источником.

Но все это обойдется без меня.

«Эти странные русские! — восклицал наш друг Тонино Гуэрра, известный художник, поэт, кинодраматург (автор или соавтор ряда знаменитейших работ Феллини и Антониони — «Амаркорд», «Репетиция оркестра», «Корабль идет», «Джинджер и Фред», «Затмение» и др.) — эти странные русские, у них в Италии мало времени, но они несутся в музей, как будто нельзя хорошие картины рассмотреть в хороших альбомах: может быть, одному из десяти тысяч действительно нужно увидеть подлинник, а не копию... Не лучше ли по улицам походить, приглядеться, как люди живут, о чем говорят...»

И мы последовали совету; а сверх того, автор, чья специальность российская история, не мог не сравнивать итальянские и русские, советские дела как в настоящем, так и в давно прошедшем времени.

В том, сколь не похожи истории двух стран (до того не похожи, что уж даже похожи!), я вдруг наглядно убедился, когда перед отъездом попытался рассказать жене краткую историю Италии. Оказалось, что это почти невозможно: нет единой истории, их десять, двадцать; мир Венеции, Ломбардии, Генуи, ни на что не похожий мир Рима, а параллельно и одновременно с ними — Неаполь, Сицилия, где византийцы, арабы, норманны, испанцы, австрийцы и еще бог знает кто... То ли дело история России: за исключением кратких веков раздробленности все, в общем, просто и ясно — страна при Иване Грозном, при Петре Великом, при таком-то... при таком-то...

Российскую историю «интереснее» рассказывать, чем общеитальянскую (про отдельные истории отдельных областей — не говорим).

Интереснее; но, может быть, — «чем ты интереснее для историка, тем для современника печальней»?

История. У нас так, у них эдак... У нас вот это лучше, а то хуже; или вслед за Салтыковым-Щедриным: «Хорошо там, а у нас... Положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно — логика любви...»

Итак, путешествие по Италии и развернутый комментарий на полях давней и нынешней отечественной истории. Оттуда — сюда.

Все дороги ведут...

Ведут, как известно, в Рим. Наша римская дорога — с Киевского вокзала Москвы, через Переделкино, Брянск, Жмеринку и другие города и веси. Но память историческая тут как тут: около трех суток по железной дороге, но уже через час после Москвы мы въехали в зону, которая так и не окончилась до Вечного города: от Наро-Фоминска до Рима лежали земли, которые на краткий или длинный отрезок времени захватывал Гитлер...

Другая, менее волнующая, но все же сравнительно недавняя память: от Тернополя, который миновали на второй день пути, через Львов, Чоп, Будапешт, Загреб, Любляны, до Венеции включительно — края, подчинявшиеся императору Францу-Иосифу, Австро-Венгерская империя, столь огромная и столь эфемерная.

Почему-то обо всем этом историку под стук колес, при скорости 60—80 километров в час, любопытно вспомнить; так же как про скорости старинные — примерно 10—12 километров за час конной езды.

Мирное, в основном гладкое пространство, вздыбившееся лишь Карпатами; в прошлом и позапрошлом веке было модно по пути сразу обращаться к теням былых правителей и художников, которые, скажем, для Байрона или Карамзина, почти реально присутствовали в старинных городах. Нынче же, кажется, требуются куда большие усилия воли (то ли скорости виною, то ли усталость), чтобы, проезжая Винницу, например, вспомнить, что близ нее есть место, где однажды вдруг обнаружилось тысячи скелетов, явно принадлежавших расстрелянным в 1937—1938 годах; 3—4 года спустя, в этом же городке, через который идет наш путь в Рим, будет ставка Гитлера; или — Львов, который вдруг вписывается в итальянскую историю. Вписывается двумя кругами: мирный, культурный — это венецианские здания и дворики украинского города, удивляющие присутствием далекого Ренессанса, именно здесь, на границе южных степей, где оседала мощная культурная волна, выплеснувшаяся из далекой Италии.

Другой же «круг» — зловещий и зверский: убийство близ Львова множества итальянцев, которые после выхода страны из войны, в 1943 году мечтали вернуться домой, но были пресечены гитлеровцами...

Вот так, одной из «всех дорог» двигались мы к Риму, кое-что припоминая. А на третье утро увидели, согласно опере «Садко», «город прекрасный, город счастливый, город-столицу, Веденец славный».

Венеция

На каменной доске близ Большого канала: «Венеция в течение многих веков была независима, семьдесят лет находилась в руках иностранцев, в 1866 соединилась с Италией».

Действительно, с V века, когда на островах в северо-западном углу Адриатического моря стали селиться беглецы, укрывавшиеся от завоевателей, — с V века до 1797 года этот город никто не мог взять.

В мире немного таких столиц. Вечный город Рим в 410 году захвачен варварским войском Алариха, в 455-м разорен вандалами, затем — остготы, византийцы, лангобарды, германские императоры, французы, испанцы, Наполеон... Второй город Италии — Милан. Тут вообще не сосчитать вступавших и выступавших, тех, кто сносил город до основания и снова восстанавливал. Между прочим, русская армия под началом Суворова тоже занимала этот город. В течение веков не раз были взяты Париж, Берлин, Вена; Москву неприятель брал в 1238-м, 1382-м, 1611-м, 1812-м; никто, правда, не смог взять Петербурга, но он молод; среди рекордсменов — Лондон: последний раз его захватывали в 1066 году; то был нормандский герцог Вильгельм Завоеватель, который тогда же стал королем Англии; еще позже пришельцы смешались с коренным населением, так что выходит — свои взяли свой город.

Венеция...

Когда говорят о невоинственности итальянцев, наверное, следует возразить, что существует история Венеции.

Великая морская торговая держава, хищная и прекрасная, коварная и твердая, расчетливая и решительная. В энциклопедических словарях значатся несколько турецко-венецианских войн с XVI по XVIII век: итальянский город, в годы высшего расцвета владевший частью Северной Италии, почти всей Восточной Адриатикой (Далмацией), сверх того, побережьем Албании, частью Греции, Малой Азии, Критом, Кипром, — он первым вступил в конфронтацию с могучими, неисчислимыми армиями султанов. Воины Сулеймана Великолепного и других правителей Стамбула к концу XVI века овладели землями от Гибралтара до Средней Азии, от Днепра и Дона до Центральной Африки, от Аравийских пустынь до Балкан и Адриатики. Могучая машина, смолотившая усталую Византийскую империю и множество других государств, нависла над ренессансной Европой серьезнейшей угрозой — самой страшной со времен Чингис-хана и Тимура. Казалось, еще немного, и расцветающие цивилизации Франции, Англии, Италии, Испании, раздираемые собственными религиозными и политическими противоречиями, падут пред полумесяцем, исчезнет почва Леонардо, Шекспира, Сервантеса, погаснут первые факелы поднимающегося капитализма...

Европа, как мы знаем, устояла, но в течение едва ли не двух веков исход был неясен. Только поражение под Веной в 1683 году окончательно повернуло турецких завоевателей вспять.

Устояла. Но на первой линии схватки постоянно была Венеция, ее люди, ее корабли, ее деньги. Она терпит поражение за поражением, но

время от времени реваншируется, снова проигрывает, но с тем же великим упорством, с каким отстраивает свой город на воде и создает шедевры ремесла, искусства, — с тем же неизменным упрямством цепляется за каждый островок, мыс, крепость; к концу XVII века теряет почти все, но и турки обессилены, их исторический напор иссякает. Дело сделано.

В зале венецианского Сената сотни портретов пожилых, суровых людей, возглавлявших эту республику в течение тысячелетия. Структура власти проста и почему-то страшновата своею простотою и очевидной устойчивостью (за десятки поколений, в сущности, мало что менялось): ремесленники, торговцы имеют свои цеховые права, немалое самоуправление — но, начиная с XII века, высшие органы не избирают. Считанное число главных фамилий записано в Золотую книгу, книга же обновляется крайне редко, иногда столетиями не открывается: только эти семейства посылают своих представителей в Большой совет, который можно осторожно сравнить с парламентом и другими представительными учреждениями. Законодательная власть, понятно, избирает исполнительную, то есть правительство: это Сенат, **Совет сорока**, и, наконец, страшный **Совет десяти** — высшая полиция, государственная безопасность. Большой совет выбирает и главу правительства, дожа, который правит до самой смерти.

Портреты дождей в Сенате; вот 90-летний слепой Дандоло, который, однако, умел видеть дальше всех правителей Европы и, финансируя Крестовый поход, получил для Венеции больше, чем все страны Европы, вместе взятые. Вот Андреа Контарини, которого заставили принять звание дожа, угрожая в противном случае объявить изменником и казнить; вот Джакомо Тьеполо, который учредил любопытнейший политический орган, наверное, полезный для любого времени и места: **Суд мертвых**, который после смерти каждого дожа выносит приговор о его правлении и частной жизни...

Один же портрет замаранный, затемненный: Марино Фальери, герой Байрона, Гофмана, увековеченный Делакруа в живописи, Доницетти в музыке. Герой Пушкина.

Замечательный пушкинист Татьяна Григорьевна Цявловская обладала особым талантом чтения немислимо запутанных, неразборчивых пушкинских черновиков. Долго возясь с одним из них, который не поддался даже коллективным усилиям целой когорты специалистов, Татьяна Григорьевна вдруг «ухватила нить», и дело пошло:...

В голубом небесном поле
Светит Вesper золотой,
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Воздух полн дыханьем лавра,
..... морская мгла,

Дремлют флаги Бучентавра,
Ночь безмолвна и тепла.

Пушкин никогда не бывал за границей (не считая турецкой территории в Эрзруме и около него); но прекрасно чувствовал, словно обладая даром дальновидения, экзотические, чужие земли —

Ура!.. куда же плыть?.. какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?

Кажется, он побывал волшебным образом и в Венеции, точно забыв, как светит Веспер (Венера) на южном голубом небе; вдыхая запах лавра, приглядывался к дремлющим в безветрии флагам, — а там дальше, в Адриатике, морская мгла; и Бучентавр ему хорошо известен — изумительная гондола, украшенная резьбой, изображением быка с человеческой головой. В венецианском музее сегодня хранятся остатки того старинного бучентавра, на котором дож выплывал в море и бросал в воду кольцо — символическое обручение Венеции с океаном.

Старый дож, Марино Фальери, легко может обручиться с древним, как он, морем — но рядом молодая жена, и здесь возникают обстоятельства трагические. По одной версии дож подозревал жену в измене, по другой, более распространенной, — один из членов Большого совета оскорбил насмешкою супружескую пару столь неравного возраста, и дож требовал покарать обидчика, но законы олигархической демократии сработали и наглец отделался ничтожным наказанием. Так или иначе, Фальери решает отомстить Венеции, венецианскому народу: задумывает переменить строй и сделать его таким, чтобы глава государства мог расчеститься с любым оскорбителем. В 1355 году — в ту пору, когда Россия только начинала поднимать голову (период между Иваном Калитой и Дмитрием Донским), там, в Венеции, делается попытка установления самодержавия, тирании, впрочем, с помощью «черни», обычно предпочитающей одного «сильного хозяина».

Заговор раскрыт, и 17 апреля 1355 года 80-летний дож проходит тот же путь, что и мы сейчас, ведомые веселым немцем-экскурсоводом: из коридора дворца дождей на Мост вздохов, оттуда Фальери мог бросить последний взгляд на родные острова и каналы, чтобы затем вздохнуть и умереть.

Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой...

Почему-то эта строка не идет из головы, пока шустрый катер-вапоретто огибаёт дворцы и башни, а устарелая, но в некоторых узких каналах незаменимая гондола, покачиваясь, несёт нас к университету.

Почему Пушкин оборвал столь сладостные стихи? Вряд ли мысль его была — заступиться за венецианские свободы против рассерженного правителя; в духе поэта — скорее восхититься дерзостью, «правотою в неправоте» Марино Фальери; к тому же — эти строки набросаны за несколько лет до смерти поэта, и не мелькнула ль вдруг собственная унижительная ситуация, невозможность иначе как взрывом, нарушением закона и этикета защитить честь молодой жены и свою собственную?

Мы отнюдь не настаиваем, что Пушкин уж так прямолинейно выводел из древней, поразившей его истории свою судьбу; но ведь его дар предчувствия столь известен; и столько раз в его сочинениях герои гибнут, защищая честь. Список этих погибших известен — Андрей Шенья, Рылеев, Радищев, Ленский, Дон Гуан, наконец, Франц («Сцены из рыцарских времен»). Прибавим к ним всем престарелого гордого дожа, который предпочёл Мост вздохов молчаливому бесчестью.

Город на воде был устойчив и выбрасывал все инородное. Может быть, благодаря тому и держался столь долго. При иных обстоятельствах простой народ, вероятно, восстал бы, потребовал большего участия в большой политике; но здесь этого почти не происходило.

Неужели, однако, столь безропотно смирились с полновластием олигархического круга семейств? Но если б только рабство, покорность, то вряд ли столь красиво и свободно взлетели бы дворцы и храмы; и не раскинулась бы одна из лучших площадей мира близ храма святого Марка; а что за имена на мемориальных досках и памятных таблицах: здесь творил Тициан, здесь сочинял Аретино, музицировал Антонио Вивальди: разве такие люди могут жить в несвободном городе?

Пушкин, в другие века, вдали от Венеции, высказался однажды, что без свобод политических прожить очень даже можно, но нельзя — без свобод личных, семейственных.

Секрет венецианской свободы-несвободы прост: люди жили хорошо, по средневековым меркам очень хорошо — владычица морей имела возможность обеспечить даже своим беднякам относительно неплохой минимум; а кроме того, свобода действительно отнюдь не только в праве выбирать высшие должностные лица в государстве. Узкие, таинственные, ночью страшные улочки (кале) старой Венеции сохранили имена многовековой давности; среди них — причудливые, например, улица Убийц, а рядом, «для равновесия», — улица Адвокатов. Названию этому много веков, и, стало быть, — профессии тоже: адвокаты в старой Венеции были не совсем то, что ныне, но все равно представляли относительно свободный независимый суд — и здесь один из секретов венецианских, но не только венецианских вольностей; суд, достаточно независимый от высшей власти, плюс определенное местное самоуправле-

ние — этого было достаточно для граждан города, чтобы чувствовать себя гражданами, даже не выбирая министров и главу государства.

Город-государство существовал долго, и, надо думать, любому режиму на земле стоит присмотреться к тем политическим образованиям, которые простояли много веков. Надо изучить секрет «строительного материала», способ изготовления разнообразных «цементов»...

Город-государство: древнейшая, интереснейшая, могучая форма политической устойчивости. Мы как-то привыкли больше изучать историю человечества по огромным империям, обширнейшим республикам, меж тем, наверное, нужно оценить совершенно особую роль крохотных общин, несравнимых по территории, скажем, с Египтом, Римом, империей Карла Великого, владениями русских царей. Маленькие города-государства, где будто спрессована огромная, «ядерная» энергия цивилизации — ремесло, торговля, свободные граждане, особая форма организации и сплочения, способная противостоять гигантским соседним державам. Это и древние государства Двуречья — Ур, Урук, Лагаш; это и славные финикийские общины — Тир, Сидон; это и города-государства Древней Греции; это, наконец, особые города-государства Северной Руси, а также немецкие ганзейские города, итальянские.

У них разные «социальные корни», порою города-республики расширяются за счет соседних территорий (как Новгород, Венеция), затем сужаются, проявляя удивительную жизнеспособность — даже в пределах крохотного кружочка за городскими стенами.

Привычная схема **от деревни к городу** здесь не действительна, эти города родились как бы независимо от окружающих сел и деревень, и в «первые фундаменты» здесь уж закладываются активное творчество, высокая производительность, свобода.

Свобода даже при олигархии. Свобода даже после того, как сравнительно демократические Медичи превращаются в самовластных герцогов, а вольный Милан склоняет голову перед Висконти и Сфорца.

«Можно спросить, каким образом среди стольких потрясений, гражданских войн, заговоров, преступлений и безумий — в Италии, а потом и в прочих христианских государствах — находилось столько людей, трудившихся на поприще полезных или приятных искусств; в странах, подвластных туркам, мы этого не видим» (Вольтер).

Крайне любопытная цитата, как бы состоящая из трех этажей. Сначала Вольтер написал эти строки, размышляя о разумном политическом устройстве и нацеливаясь на современные ему французские порядки.

Проходит сто лет, и Чаадаев помещает высказывание Вольтера эпитафией к своему знаменитейшему «Философическому письму»; но что ему, Чаадаеву, до итальянцев и турок? Он размышляет о России. Понятно, потаенный смысл эпитафии в том, что не только под турецкими, но прежде всего под российскими тиранами не рождается ничего столь же

яркого и творческого, как в маленьких итальянских городках, даже среди разных заговоров, войн, переворотов и убийств.

Мы знаем, что русское общество было потрясено «Философическим письмом» (по словам Герцена, «выстрел в ночи») и нашло в нем как горькую правду, так и преувеличение, искажение, чрезмерную безнадежность — то, что опровергалось и самим фактом существования такого человека, как Чаадаев, и присутствием яркого созвездия современников во главе с Пушкиным.

Причудливо переплелись итальянские, турецкие, русские (а у Вольтера еще и французские) намеки, проблемы.

Но в самом деле — «итальянские секреты», способность в течение нескольких веков порождать гениев при любом режиме — все это одна из точек притяжения России к Апеннинам, хотя, разумеется, далеко не единственная. К тому же российские чувства к Риму — один сюжет, к Неаполю — другой, к Венеции — третий...

Итак — в Венецианский университет на вапоретто и гондоле.

Университет, конечно, очень древний, но есть и подревнее: самый старый в стране и мире — Болонский: 1088 год.

Все-таки надо запомнить — за несколько веков до современной Европы, за семь без малого веков до открытия первого российского университета, Московского, вырастают эти удивительные очаги знания, где, правда, всего четыре факультета (медицинский, юридический, богословский, философский), где студенты порою платят оброк и даже несут барщину в пользу профессора, — но все же университеты в Париже, Кракове, Оксфорде, Саламанке, Праге, Упсале...

В аудитории человек тридцать, неплохо понимающих по-русски: интерес к России растет, появляется мода на русский язык.

Сначала короткий доклад, затем вопросы:

— Верите ли вы в перестройку и что лично от нее имеете?

— Чем, по-вашему, русские похожи на итальянцев?

— Был ли император Павел сумасшедшим, как можно судить по его плану завоевания Индии?

— Есть ли в СССР антисемитизм?

Вскоре после того студентов отпускают на двухнедельные каникулы в связи с карнавалом.

Вообще каникул у них куда больше, чем у наших: летние с июня по конец ноября; мы не слышали, чтобы студенты мобилизовывались на полевые работы (уборка картошки или, в соответствии с климатом, — мандарины), но знаем, что многие ищут и находят способ заработать, большинство же путешествуют, стремясь посетить семинары по избранной специальности в Норвегии, Англии, даже в Америке: для поездки туда и стараются накопить денег, а сверх того, некоторые университеты обес-

печивают скидку или выдают пособие для подобных путешествий, и задача студента к началу нового учебного года представить максимум материалов с посещенных семинаров: это учитывается и засчитывается...

Вступительных же экзаменов в университеты нет, но зато очень суровые сессии плюс плата за обучение, и немалая. Не все выдерживают — в Милане, Венеции оканчивает курс примерно треть начинающих, но зато любому, кто ушел до срока, выдается свидетельство (как это было и в России до революции), что он «прослушал» два курса или три: это влияет при устройстве на работу.

Не копируя эту систему, мы можем (по-моему, даже обязаны) что-то отсюда перенять. Вступительные экзамены, особенно в крупные учебные заведения нашей страны, давно стали «конкурсом блатов»; разумеется, такой же обман может быть осуществлен и на каждой университетской сессии, но тут, кажется, легче принять меры...

Итак, в феврале венецианские студенты распущены, потому что невозможно же учиться в городе, где закипает карнавал.

Венецианские старожилы, интеллигенты относятся к нему с иронией, примерно так, как москвичи — к ажиотажу и запретам, расцветавшим во время Олимпийских игр в столице; старожилам кажется, что недавнее возобновление карнавалов — несколько искусственно; нам, однако, как новичкам разворачивавшееся действие очень нравится, и мы несколько стесняемся признаться в этом венецианским скептикам.

Множество молодежи, из разных городов Италии, из других стран: добирается кто как может, все это недорого, и ночуют, где придется; с утра уже мелькают маски, к полудню их тысячи, к вечеру — десятки тысяч; площадь Святого Марка не вмещает бурлящую толпу, и она расплозается по темным каналам. Маски из здешних магазинов, доставленные из-за границы, изготовленные домашними средствами. Десятки, сотни изящных молодых людей в камзолах, треуголках и очаровательные синьорины XVII—XVIII столетий. При этом быстро выясняется два любопытных обстоятельства: к концу второго дня привыкаешь и в самом деле считаешь нормальным, современным тот старинный облик; с другой же стороны, как выигрывают кавалеры и особенно дамы от двухвековой маски; иной, иная снимет — и полное разочарование; это, конечно, известно давно (вспомним лермонтовский «Маскарад»), но масковое, практическое подтверждение даже прописной истины всегда содержит в себе нечто таинственное; в общем, человек в маске в принципе много красивее, интереснее человека без маски...

Впрочем, большинство маскирующих не стремится к красоте, и любая остроумная выдумка тут же поощряется аплодисментами толпы, многочисленными фотовспышками.

На разных углах стоят замершие манекены, статуи; стоят подолгу, может быть, по часу, чтобы окружающие привыкли к их неподвижно-

сти, сочли за реальные чучела; и вдруг манекен шевельнулся, двинулся под общий радостный или испуганный вопль.

Маска-светофор; маска-самолет, в которую вставлены несколько человек (крылья, хвост, гудение).

Многочисленные маски смерти (все это имеет древнеитальянские, испанские корни): смерть с косою весело шагает по улице, задевая то одну, то другую жертву; иные прячутся, другие, наоборот, суеверно замирают на месте, испытывая судьбу, — ударит коса или нет? Одна зрительница очень удовлетворена, что коса пронеслась мимо, но тут же получает удар трехметровой рукою другой маски: «обидчика» довольно трудно отыскать в толпе, а пока ищешь — обрушивается новый удар...

Дети в масках, собачки в масках, мужчина и женщина в огромных слоновых личинах идут, помахивая хоботами, прошел отряд драгун под бой старинного барабана, продавцы предлагают портретные маски Рейгана и Горбачева...

К вечеру по узким улочкам уже не пройти, усиливается рев, маски все страшнее, выпито много спиртного, полиции почти не видно, но, странное дело, никакого чувства опасности, какое естественно возникает в гуще возбужденной, подвыпившей молодежи...

Странный город, «город-столица Венец славный», заставляющий задуматься и об истоках демократии, и о ревнивых стариках, и о пушкинских стихах, и о странствующих студентах, и о фантастических масках.

О, Брента, нет!

Совершенно непонятно, как могут итальянцы спокойно жить среди столь знаменитых названий: только что поезд на минуту приостановил ход в Падуе — и вот уже держит курс на Феррару, но, невзирая на большую скорость, успеваем из окна различить дальнюю надпись «Брента-маркет», то есть «Рынок Бренты», — и тут же красивая речушка, мост, секунда — и все осталось позади...

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!..

В первой строке, может быть, лучшее в мире «нет»: желание, сомнение, прощание. «Нет, увижу вас».

Не хочу впадать в слащавое лицемерие, но не могу не признаться в некотором неудобстве, смущении перед величайшими людьми, которые мечтали быть там, где мы столь просто и обыденно существуем в эти минуты и часы. В Риме — гоголевские дома, кварталы, улицы; во

Флоренции — «здесь в 1867—1869 году жил Федор Достоевский»; всюду — дороги изгнания Александра Герцена: Генуя, Рим, Неаполь, Венеция — но нет и не будет Пушкина.

А меж тем поэт, можно сказать, вступил в разговор, подружился с Торквато Тассо, умершим в Венеции за 204 года до его рождения: «Торкватовы октавы», *Брента* — это его места, рифмы, образы...

Тонино Гуэрра, сочувственно выслушав рассказ о Пушкине и Бренте, отвечает неожиданно: «В низовьях Бренты, почти у Адриатики, мы может быть, поедем, — там есть одна отличная trattoria, и хозяин мой друг: да, Брента...»

Наверное, можно написать роман или подготовить документальный многотомник на тему «Российские писатели за границей».

С кого начать?

Василий Тредиаковский — школяр, возможный исполнитель тайных петровских поручений в Голландии, Париже, Гамбурге.

Антиох Кантемир — посол в Лондоне и Париже; но они еще, кажется, не понимают всей причудливости сюжета «Европа—Россия».

После того ездят редко: Державин так и не собрался, Фонвизин успел, но Европа, особенно Франция, чрезвычайно ему не понравилась; Карамзину в «Письмах русского путешественника» приходится Запад открывать заново.

В 1814 году молодые литераторы-офицеры вступают в Париж с победоносной армией...

Позже их весьма придерживают в России, оберегая от «европейской заразы».

Пушкин не ездил, Лермонтов не успел, Баратынский вырвался — захотелся от счастья и скоропостижно скончался в Неаполе.

Позже режим добреет, заграничные поездки не событие (Тургенев, Достоевский, Чехов).

Ну, а в наши дни — дело известное.

Скажу: мне жаль его, он мир не повидал,
Какие б он стихи о Риме написал!

Это Александр Кушнер несколько лет назад сочинил о самом себе; но все же — дождался лучших времен, и Рим увидит или уже увидел.

Более двадцати лет назад успела Ахматова; на Сицилии до сих пор не могут забыть ее облика, величавую речь, — она приезжала получать премию в Таормину; и прежде бывала за границей — но на полвека раньше, до революции.

Как и Пастернак, студент Марбурга, наблюдавший Европу перед 1-й мировой; впрочем, еще съездил в 1935-м, на антифашистский конгресс в Париж...

Цветаева: у нее заграницы на два десятилетия; так много, что в пору все проклясть...

Мандельштам же, написав 18 января 1937 года в воронежской ссылке стихи «Не сравнивай, живущий не сравним», сказал жене: «Теперь, по крайней мере, понятно, почему я не могу ехать в Италию».

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

Вот как ездили — не ездили российские писатели за границу, и нет лучшего эпиграфа к этому не очень веселому повествованию, чем —

Адриатические волны!
О Брента! нет, увижу вас...

У Малатесты и Монтефельтро

Две эти знатнейшие фамилии в разное время владели огромными пространствами от Апеннин до моря (составляющими значительную часть провинции Романья): город Римини, откуда родом Франческа, высокий замок Градара, где Франческа полюбила Паоло, и оба погибли.

Градара, где, конечно, имеется кафе «Паоло и Франческа»... А неподалеку в горах, в снегах, — Урбино, родина Рафаэля, где сохраняется его дом: пустык для каменной цивилизации — дом через полтысячи лет! — и почти полная невозможность подобного для деревянной Руси (где дома Рублева, Аввакума?).

Лишь немногие уцелевшие храмы...

Во дворце старинного хозяина Урбино, среди полотен Рафаэля и Перо де ла Франческо — горбоносый профиль герцога Монтефельтро, потерявшего в схватке глаз и потребовавшего от хирурга пробить ему такое углубление на носу, чтобы оставшийся глаз все видел и мог лучше прицеливаться...

Все эти древности и легенды присутствуют в камне, фольклоре, в названиях кафе, но жители Римини охотнее показывают Гранд-отель, где сняты многие сцены «Амаркорда»: здесь — родина Феллини.

В Москве мы экзаменуем земляков: «Вообразите Римини, растянувшийся по берегу Адриатики, 150 тысяч жителей, примерно наши Сочи или Ялта. Сколько здесь отелей? (Просим учесть бесконечный, изумительный песчаный пляж и близость курорта к Австрии, Германии и прочим нуждающимся в теплом море государствам: кстати, каждый второй турист в Европе — это немец.)

Друзья предполагают, что отелей не меньше ста, даже — нескольких сотен, мы называем настоящее число — *шесть тысяч!*

Синьор Гуэрра

В десяти километрах от Римини — крохотный городок, строго говоря, деревня (но дома каменные, много магазинов, где все как в больших городах, сверх того, собор, замок — и как-то странно все это называть деревней); итак, Сантарканджело ди Романья, где живет уже упоминавшийся Тонино Гуэрра.

То есть живет он, конечно, в Риме, но с годами старается все больше и больше времени проводить на родине, среди односельчан, среди тех, кто по воскресеньям обязательно сходятся в кафе (у каждого свое — от беднейших до миллионеров) — сходятся и ведут бесконечные карточные партии, попивают некрепкие и крепкие напитки (за много дней нам так и не удалось увидеть ни одного пьяного) и толкуют обо всем. С карточных столиков, со скамеечек, где крестьяне греются на дружелюбном февральском солнце, доносится: «Тольятти», «Горбачев», «Бухарин»... Что-что, а газеты читаются, политика — часть жизни. По той причине, что ею занимаются свободно — когда хотят и сколько хотят.

Тончайший интеллигент, поэт, художник, киносценарист, соавтор Феллини и Антониони. И в то же время — по внешности, повадкам — крестьянин, хорошо понимающий своих односельчан и являющийся тем «человеком из народа», образ которого в нашей литературе и жизни столь заштампован и изолган, что, кажется, нет и не может быть такого человека. Мое знакомство состоялось в Москве, когда Тонино просил помочь ему в некоторых исторических справках при подготовке повести, а может быть, в будущем, и сценария: сюжет был реалистически-фантастическим; действие разворачивалось в Петербурге 1830-х годов, где некий генерал русской службы и итальянского происхождения неожиданно отыскивал мудрую говорящую собаку, беседовал с нею о жизни и затем приступал с ее помощью к удивительным действиям, направленным к освобождению других собак и птиц. При этом выяснялось, что многие птицы и звери вовсе не желают покидать клетки, что они по-своему взирают на человеческую историю и т. п. Больше всего меня поразило, что Гуэрра для реализации своих фантастических идей требовал альбомы собачьих пород именно того, николаевского времени; поскольку же говорящая собака по просьбе хозяина отправлялась посмотреть на умирающего Пушкина, Гуэрра вынужден был изучить последнюю квартиру Пушкина на Мойке, 12, с точки зрения возможного проникновения туда через дверь или цель разумного животного. Я спросил, так ли важно для будущего читателя или зрителя, чтоб собаки были именно те, а не какие-нибудь другие, появившиеся чуть

позднее; и разве придумавший говорящую собаку, должен стесняться того, что ей трудно проскользнуть в реальный дом на Мойке?

В ответ итальянский художник объяснил, что, конечно же, он мог бы тут многое и даже все придумать, но одним из главнейших его профессиональных принципов является отыскание максимально возможных реальных, правдивых деталей внутри самого нереального замысла... Позже я обрадовал Тонино Гуэрра замечательным афоризмом Цветаевой: «Обожаю легенду, ненавижу неточность!»

Жизнь и творчество столь неразделимы у этого пламенного патриота, что порою он сам, да и мы вслед за ним действительно не понимаем, — что выдуманно, а что — на самом деле.

Мы наблюдаем Тонино Гуэрра в его родной деревне, среди родни и односельчан, стараемся понять некоторые его странные с виду, алогичные, но всегда необыкновенные поступки.

Вот он рассуждает об утрате древнего искусства церковного звона и горячо доказывает, что эти звуки очень необходимы для духовного настроения, определенного нервного состояния жителей; а вот — с разрешением муниципалитета (который, с одной стороны, польщен такой активностью известного мастера, а с другой стороны, кажется, его и побаивается) — Гуэрра устанавливает на разных домах красиво оформленные керамические доски с собственным текстом: в одном случае это поэтическая эпитафия прекрасному сапожнику или портному, некогда жившему здесь, и в чьих руках было не просто ремесло, но высокое искусство, художество; в другом случае — афористическое наиздание: «Ты говоришь, что любишь цветы, и рвешь их. Ты говоришь, что любишь животных, и ешь их. Ты говоришь, что любишь меня, и я боюсь тебя».

Керамические доски — далеко не единственная сфера приложения его усилий к родной местности: старая мельница разрушена, но удивительный жернов, такой, который нынче не делают, поставлен на заметное, почетное место в городке; население уходит с гор в города, там наверху остаются покинутые церкви. Их никто не посещает, кроме случайных путников (но, разумеется, не трогают, не разрушают). Так же при дорогах стоят маленькие народные «путевые» мадонны, расщепляемые дождем и снегом. Гуэрра с несколькими художниками-энтузиастами их собирает, реставрирует; кроме того, по старинным образцам они создают новых «китчевых» мадонн. Тонино мечтает, чтобы ему отдали одну из брошенных церквей для создания в ней музея, где будут выставлены те, что собраны у дорог, и те, что созданы по их подобию...

Для чего это? Для укрепления веры?

Нет, для возвышения духа: писателя, художника (вообще склонного к атеизму) беспокоит, что итальянцы утрачивают свою древнюю духовность, художественное чувство, возвышенный настрой души.

— Сколько итальянцев регулярно посещают церковь?

— Примерно 25 % (в городе меньше, в деревне больше): разумеется, куда большее число вступает в церковный брак, крестит детей, но ис-

товая религиозность былых десятилетий и веков явно слабеет, и здесь один, но важный элемент ослабления высокого духа нации...

Мы говорим, что в Польше, например, куда больше людей бывает в церкви, но итальянцы ревниво не соглашаются (может быть, здесь сказывается и совершенно непривычная национальная принадлежность папы Иоанна-Павла II: впервые за несколько веков во главе церкви — не итальянец, но тот, кого за глаза иногда называют просто «пан Войтыла»). Итальянцы горячо доказывают, что если бы рядом с Польшей не было Советского Союза, то храмы не посещались бы там столь усердно.

Оставляем в стороне этот сложный и не поддающийся статистическому анализу спор; он многое открывает нам в намерениях, «чуждачества» Тонино Гуэрра (и разумеется, не его одного).

Еще и еще наивные как будто попытки соединения сегодняшнего, весьма благоустроенного и оснащенного быта с некоторыми, пусть легкими, но вдохновляющими черточками старины.

В древности на местной речушке Мареккиа были фонтаны, которые наблюдал Данте, когда с горы Монтебелло выискивал в окрестном пейзаже вход в адскую преисподнюю. Сейчас вдоль Мареккии мало кто ходит и ездит, но фонтаны надо возобновить; и муниципалитет отпускает средства: благо, права местных органов власти, по нашим, советским, понятиям, огромны: кроме добровольных приношений, они получают немалые налоги с земель, зданий, фабрик; страна богатая — средства притекают немалые, центр же исторической области (их в Италии двадцать!), а также центральное правительство в Риме практически никак не могут помешать местной самодеятельности и обладают довольно ограниченными правами контроля и наблюдения...

В общем — беспокоятся итальянцы об утрате духовности. Мы спрашиваем Гуэрра, что изменилось в его городке за последние 50—60 лет?

— Богатые остались богатыми, впрочем, стали еще богаче; но сильно поднялся низший уровень, люди стали жить в общем хорошо. Если б еще дух: если б ваша книжка об итальянцах в России выходила бы у нас тиражом не в 2—3 тысячи экземпляров (обычный хороший местный уровень!), а «по-советски» — 100, 200 тысяч! Конечно, в СССР около 300 миллионов жителей, но все-таки и в Италии более 60 миллионов...

Мы «верим на слово» нашему собеседнику, не очень-то различая беспокоящий его упадок итальянского духа: видим чудесный мрамор, сотни лучших картин; изучаем живые одухотворенные лица. Впрочем, нам объясняют, что это один из видов «итальянского обмана»: в России и других странах «жлоба» можно куда в большей степени отличить по выражению лица, чем на Апеннингах, — здесь он нередко смахивает, скажем, на академика или лорда. Порода, дух...

Мы едем по долинам и горам Романьи, из Римини в Сан-Марино, и нам объясняют, что вон по тем горам бродил Данте, а фантастическая крепость Сан-Лео — место, где соорудил свой монастырь в XII веке Франциск Ассизский; тот самый веселый нищенствующий монах-поэт,

который сделал величайшее открытие: оказывается, возвышенная вера, которая веками представлялась в форме обязательного насилия над самим собою, в виде умерщвления плоти,— что эта самая вера, в сущности, такое счастье, что ей идет легкая веселость...

Лев Толстой особенно любил историю, как Франциск и его спутники, замерзшие, голодные, искали ночного пристанища, очень надеялись на один монастырь, но там перед ними грубо захлопнули ворота; и тогда Франциск, глядя на приунывших товарищей, объяснил им, что все это пустяки и что некоторая трудность лишь в том, чтобы, пройдя еще полночи до следующей обители и там тоже получив отказ, суметь все-таки полюбить и тех монахов...

Средний итальянец, нам приходит в голову крамольная мысль, может быть, имеет большее право *не читать*, чем обитатели других краев: когда он глядит на холмы Тосканы, те самые, что за спиной у Джоконды Леонардо, когда он веселится на венецианских, римских, неаполитанских площадях, он уже как бы знает (или чувствует) всё... Видя и ощущая это, мы как-то меньше беспокоимся об упадке итальянской духовности, нежели наши друзья; им, однако, виднее.

Пока же они везут нас в одно из любопытнейших государств мира.

Сан-Марино

Республика Сан-Марино: площадь 61 кв. км, население 30 тысяч...

В детстве мы очень любили книги о разных географических, исторических курьезах, где, между прочим, смеясь, вычитывали сведения о карликовых государствах Монако, Лихтенштейн, Андорра, Сан-Марино: «Подумать только, такие маленькие, а самостоятельные!» Смех в основном вызывался тем, что мы такие большие. Подразумевалось, что огромная империя (такая, где, по словам П. А. Вяземского, «от мысли до мысли пять тысяч верст») — вот это нормально.

Правда, с годами смех наш над государствами-малютками стал как-то менее звонким. Во-первых, в мире появилось еще довольно много республик с малой площадью и небольшим населением — Мальдивские острова, Барбадос, Науру и другие. Во-вторых, выяснилось, что в условиях существования двух или нескольких политических лагерей большому государству не так-то просто, а часто невозможно слотать маленького; в-третьих, открылось, что огромная территория не такое уж легкое бремя и что будущее человечества — отнюдь не только в централизации; в-четвертых, снова припомнили достоинства таких цивилизаций, как города-государства Двуречье, Греция, Средневековая Италия. В ту пору было множество территорий вроде Сан-Марино; и ничего — жили, может быть, в ряде отношений не хуже нынешнего...

В общем, посмеиваемся и задумываемся.

30 тысяч жителей, и в сезон не менее пяти миллионов туристов. «Ах, ребята! — восклицает наш старинный приятель. — Здесь, в Сан-Марино, самая дешевая выпивка в Европе!»

Поскольку нас сопровождает Тонино Гуэрра, много сделавший и для своей деревни, и для многих соседних городков и городов, гостей принимают, можно сказать, на государственном уровне. Адвокат Берти, писатель-сказочник, один из бывших капитанов (то есть глав государства) республики Сан-Марино, а также Фауста — министр культуры. Он социалист, она коммунистка, мы их гости, и поэтому (или по каким-то другим особым причинам) обед — один из самых роскошных в длинном ряду наших необыкновенных итальянских пиршеств (необыкновенность, чтобы закончить эту тему, — прежде всего в количестве вкуснейших блюд: закуски, спагетти, разные рыбные изделия, затем сорбе, которое мы приняли за мороженое, десерт, завершающий первую часть обеда, — и все это, конечно, сдобрено прекрасными винами; но после сорбе, собираясь подняться от стола, — вдруг получаем мясо в огромном количестве, сыр, фрукты, сладкое и, наконец, граппу, то есть водку).

Государственный обед и обилие напитков приблизили нас к состоянию панибратства с демократически настроенными хозяевами; лишь позже, когда совершилась прогулка к правительственному зданию и мы увидели, как гвардейцы по команде взяли на караул перед членами своего правительства, — только тогда мы осознали свое место.

К этому времени беседа об особенностях славной республики уже длилась третий час. Мы с удовольствием слышали разъяснения и подтверждения того немногого, что знали, о многом же — впервые.

Прежде всего это самое старое государство Европы — с 301 года.

Во-вторых, на этой горе (практически вся республика помещается на одной горе, чуть-чуть захватывая подножие) уже примерно с XII века четко действует древнеримская система демократии: два выборных капитана (то же самое, что древнеримские консулы) избираются на шесть месяцев — вдвое меньший срок, чем у консулов, и точно такой, как у редких древнеримских диктаторов. Республика, жившая своей жизнью, продержалась среди всех бурь средних и новых веков, отчасти, может быть, потому, что гора не казалась соседним завоевателям столь уж важной целью для пролития крови; отчасти же просто повезло.

Наполеон, уничтоживший Венецианскую республику, вдруг возлюбил Сан-Марино: республиканец, быстро превращавшийся в первого консула и императора, возможно, смотрел на маленькую республику как на идиллическое воспоминание юности, когда столь же прекрасной и легко достижимой казалась первая республика в Париже, принесенная Великой французской революцией.

В любом случае было (и есть) в этой маленькой демократии что-то привлекательное, и непросто определить, что именно. Создатели американской конституции изучали статус Сан-Марино, стремясь извлечь

для себя максимум полезного; Наполеон же так расчувствовался, что предложил санмаринцам немного увеличить их территорию: всего несколько квадратных километров папской области, которые вывели бы маленькую республику к Адриатическому морю (сегодня оно хорошо видно с вершины сан-маринской горы, но это не их берег — *итальянский*). Очень и очень соблазнял Наполеон, но славный капитан Д'Онофрио отказался и, мы уверены, — поднялся на ту высоту государственной мудрости, которая ничуть не уступает великим законодателям — устроителям знаменитых империй и республик. Он ответил Наполеону, что, взяв хоть кусочек чужой территории, Сан-Марино дает соседям право обращаться с нею таким же образом; но стоит им соответственно конфисковать кусочек нашей земли — и нас не будет!

Очень чтут в Сан-Марино старинного капитана Д'Онофрио...

Второй же сюжет, который нам поведали уважаемые сотрапезники, развернулся в 1860-х годах. Тогда Италия, как известно, объединялась вокруг Сардинского королевства, Савойской династии и включала в свой состав последовательно — Ломбардию, Неаполитанское королевство, Парму, Модену, Тоскану, наконец, Папскую область. Столица королевства была в 1861 году перенесена из Турина во Флоренцию, еще через девять лет в Рим. На Апеннинском полуострове отныне существовало одно большое государство — Италия; и внутри него два крохотных — Ватикан и Сан-Марино. О Ватикане говорить сейчас не будем; но почему же, упраздняя одну старинную феодальную вольницу за другой, правители Италии «пожалели» Сан-Марино?

Отвечают, что демократическая гора многим обязана Джузеппе Гарибальди: национальный герой Италии, фактически ее объединитель, некоторое время скрывался в Сан-Марино и, подобно Наполеону (но все же, наверное, несколько иначе!), маленькую республику полюбил.

В общем, оказалось, что все упраздняемые на Апеннинах правительства были монархическими, и только в одном месте, в Сан-Марино, жила древняя республика. Ничего не стоило Савойской династии стереть ее с карты; однако объединение страны, Риссординamento, было в немалой степени замешено на высоких идеалах и мечтах; выборные капитаны единственной республики казались реликтом Древнего Рима. Сохраняя Сан-Марино, правители Италии как бы поднимали себя в своих глазах, в глазах народа.

Не забудем, что к 1880 году в Европе везде были монархии — и в России, и в Германии, и во Франции, и в Португалии, и в Сербии...

Лишь в Швейцарии и Сан-Марино республики.

Республики, заставляющие, между прочим, задуматься, — отчего же все так переменилось за сотню лет? Почему в мире осталось считанное число монархов, а самодержавный строй, кажется, сохранился только в Саудовской Аравии (еще был в Эфиопии, но сбросили в 1974 году)?

Итальянцы же, напомним, сразу после войны большинством в 14 миллионов голосов против 11 миллионов провозгласили себя республикой, запретили въезд в страну наследникам по мужской линии последних королей (Виктора-Эммануила III и Умберто II), и как раз в дни нашего приезда престарелая королева впервые после 1946 года на короткое время посетила провинцию Аоста (итальянские коллеги шутили, что королева все время дожидалась нашего прибытия в страну)...

Крохотное Сан-Марино — «опереточное государство», как нас старались убедить прежние справочники и учебники. Но 100 тысяч беженцев во время второй мировой войны скрывались на этой горе из соседних мест Италии, — и Муссолини не решился применить силу.

Крохотное Сан-Марино, но почему-то оно не хочет слиться с Италией, хотя живут в нем итальянцы?

Можно, конечно, усмотреть здесь феодальные пережитки: ведь, скажем, Новгород, Псков, Тверь тоже не торопились присоединяться к Москве. Но как знать — может быть, здесь один из образчиков, одна из первых моделей будущего устройства человечества, его демократизации, децентрализации, разгосударствления?

Еще и еще раз повторим, что в мире действует два рода сил: одни — укрепляющие, соединяющие, ибо сегодня невозможно замкнутое ведение хозяйства, требуется объединение международных усилий для общих транспортных, экологических, космических проектов. Однако, кроме макропроцессов, также и микро...

Как видим, Сан-Марино в разные эпохи оказывалось на путях прогресса, и какая-то странная сила удерживала прогрессистов и реформаторов от столь легкого уничтожения вольной горы; здесь открывались идеалы, может быть, не всегда заметные могучим соседям; и открываются перспективы, не очень понятные всему человечеству...

Мы покидаем провинцию Эмилию-Романью и движемся на юго-запад через Болонью.

В этом году университет, старейший в Европе, отмечает свое 900-летие: центр правовой мысли Италии, Европы, всего мира; университет, где уже 600—700 лет назад блистали знаменитые женщины-законоведы (и как не вспомнить общее в современной политологии положение, что важнейшими критериями демократии являются, во-первых, состояние правовой мысли, а во-вторых, положение женщин).

Древнейший университет — а на вокзале сохранена и застеклена огромная асимметричная трещина, память о чудовищном террористическом взрыве, унесшем десятки жизней.

Нас спрашивают...

— Что лично вы получили от перестройки? (Отвечаем: «Хотя бы то, что мы здесь!»)

— Знает ли Горбачев какой-нибудь иностранный язык?

— Можем ли мы, итальянцы, радоваться вашей перестройке, если ее приветствует, между прочим, такой реакционер, как господин Монтанелли?

— Хорошие ли у вас больницы?

— Есть ли у вас безработица?

— Есть ли демократия на заводах?

— Вся ли молодежь за перестройку?

Мы с наслаждением отвечаем то, что думаем; во всяком случае, нам кажется, что мы ни разу не покривили душой перед теми итальянскими слушателями, которые вообще-то приглашены на представление нашей книги «Итальянцы в России», но со второй минуты, слава Богу, про эту книгу забывают и начинают спрашивать о перестройке.

Мы говорим, что за редчайшим исключением больницы наши плохи, а в глубинке, на окраинах нередко ужасны, отвратительны. Итальянцы жалуются на свои муниципальные, то есть бесплатные больницы: «Вот в платных клиниках иное дело!»

Мы говорим, что безработицы у нас нет, но по их итальянским понятиям она, в сущности, имеется, потому что значительная часть работающих в Италии получает реально в три — пять — десять раз больше наших; потому что безработные предпочитают получать пособие или пробавляться случайными заработками, нежели иметь постоянную службу с мизерным окладом. Рабочие города Пистойя близ Флоренции, которым мы все это сообщаем, благодарят нас за искренность, «вызывающую доверие», ибо недавно приезжал лектор из России и, похваляясь отсутствием безработицы, в общем не сказал правды о зарплате российских трудящихся. Зато, когда мы предполагаем, что на предприятиях Италии существует немалая демократия, нам с горечью отвечают, что в последнее время «она оканчивается у ворот завода»: раньше было лучше...

В определенные вечерние часы на улицах итальянских городов сборища молодежи: шум, громкие голоса, толковище; говорят, бывают драки и поножовщина, но не слишком часто. Во всяком случае, ощущения агрессивности, опасности на этих площадях совершенно нет, а через одну-две темных пистойских улиц — пустынное вечером место с громким историческим названием, напоминающим, насколько любой, даже небольшой городок Италии насыщен, напластован прошедшим. Улица *Tomba di Catilina* — Могила Катилины. Здесь близ Пистойи (существовавшей и две тысячи лет назад) сложил голову Луций Сергей Катилина: личность чрезвычайно известная во всем мире благодаря... своему главному врагу Цицерону; благодаря известному началу цицероновой речи против Катилины, которую прежде, а отчасти и сегодня, знали наизусть

все интеллигенты: «Доколе будешь ты, Катилина, злоупотреблять нашим долготерпением?»

А ведь что, в сущности, произошло, почему помнят Катилину?

В I веке до нашей эры Римская республика медленно, мучительно утрачивала свои многовековые свободы. Гибко отлаженная система демократии, народное собрание, сенат, два консула, избираемых на год, народные трибуны, имеющие право наложить вето на любое решение,— все это уходило в прошлое, поскольку исчезала опора вольности, простое свободное население Италии, крестьяне, ремесленники. Победы в многочисленных войнах, захват десятков тысяч рабов неслыханно обогащают богатых и делают ненужным труд бедных, развращая их и превращая в пролетариев; новой структуре населения, новому хищному, обогатившемуся классу рабовладельцев нужна крепкая постоянная диктаторская власть, и установление ее — дело времени. «Прототипом» будущих императоров становится кровавый диктатор Сулла, который, однако, после нескольких лет полновластного правления в Риме отходит от дел, умирает, и демократия восстанавливается.

В последние свои десятилетия, ощущая близость конца, демократия, кажется, особенно ощущает свою самоценность, но поздно, поздно: все меньше людей склонно умереть за старинные свободы. Катилина, попытавшийся стать диктатором через 20 лет после Суллы, проиграл, сложил голову у Пистойи и дал демократии возможность в последний раз порадоваться сохраненной вольности. Впереди, через несколько десятилетий, сначала Юлий Цезарь, потом Август добьются того, чего не добился честолюбивый вождь римской черни, изблеченный красноречием Цицерона...

На фоне многовековой империи, установившейся с 40—30 гг. до н. э., — неудачная попытка узурпации двадцатью годами раньше — пусть; но люди почему-то склонны запоминать, обожествлять «минуты роковые»; и жителям города Пистойя очень важно, что в их городе — «могила Катилины», что именно здесь республика отстояла себя еще ненадолго, но оставила в наследство мысль, что за свободу надо бороться, даже если дело гиблое.

Пистойя — соседка Флоренции; Флоренция же столь знаменитый город, что в этом месте нашего повествования испытываем естественную гордость от того количества художников, скульпторов, архитекторов, храмов, галерей, картин, мостов, башен, набережных, которых мы не только не описываем — не рискуем перечислить!

Однако не обойдем университета, куда меня везет на беседу со своими студентами наш доброжелательный куратор профессор Ризолити.

— Что вы лично имеете от перестройки?

— Пострадали ль вы лично от Сталина?

— Почему раньше вы и другие люди не требовали перестройки, а сейчас, когда можно, вы тоже за?

Вообще итальянские вопросы отличаются от тех, что задают у нас в стране, большей долей «личностного». Наши люди все больше вопрошают, как вы относитесь к Сталину, Хрущеву, Брежневу, событиям в Афганистане, Карабахе; строго говоря, конечно, и в этих вопросах скрыт интерес к личности докладчика: в том смысле, как он отреагирует, как обойдет или не обойдет опасный сюжет. Итальянцы же, очевидно под влиянием старинных религиозно-исповедальных мотивов или какими-то иными путями приученные к максимальной искренности, очень часто спрашивают не вообще о России, а лично о тебе; и узнав, к примеру, что при Сталине сидел в лагере мой отец, уже удовлетворены ответом на вопрос о моих трудностях в этот период (как будто всем, у кого отцы не сидели, жилось припеваючи). Заверения о том, что и до перестройки мы кое-что пытались сделать, их все-таки не удовлетворяют.

Покидая Флорентийский университет, расспрашивая студентов и профессора о том, что нас интересует никак не меньше, чем их, слышим от некоторых ветеранов, что молодежь сейчас куда больше митингует и куда меньше учится, чем прежде: перелом произошел вследствие молодежной, сексуальной революции 1968-го и следующих лет; другие же свидетели, родители, педагоги, не соглашаются и находят, что просто изменилась жизнь, тип общения, отношение к личным и общественным делам: молодежь не хуже прежней — *другая*. Подобные споры, как известно, зафиксированы еще в документах Древнеегипетского царства, примерно в 27—25 веках до н. э., и не имеют шансов окончиться, надеемся, еще веков пятьдесят.

Однако наша дорога пока что не достигла вечного города.

Третий Рим, но не Москва

Февраль, тепло, поезд Флоренция — Рим быстро проносится через один туннель за другим (я никогда не видел подряд столько длиннейших туннелей — овеществленный памятник итальянским инженерам XIX века). Зеленые холмы Лациума, иногда мелькает акведук или остатки римских ворот. И хотя более чем тривиально рассуждать о том, что почувствовал путник, подъезжая к историческому месту, и что было здесь 1000, 2000, 2500 лет назад, но все же, все же, — признаемся, вдруг стало страшно: дорога в Рим, который вот-вот покажется за одним из холмов, и по этому самому пути, а также по десятку других скакали меж этих зеленых февральских полей легионеры, квесторы, трибуны, легаты, — неслись с замиранием сердца туда, где их ждет высший суд, награда или наказание; туда, где в одну эпоху на их приветствие ответят Цинциннат, Гай Марий, в другую — Нерон, Аврелий, Диоклетиан...

В том мире говорили — **Город**, и не объясняли, какой. Были сотни других городов, но — обязательно назывались по имени, а здесь — **Город!** Точно так, как в Египте не говорили **Нил**, а говорили **Река**.

1900 лет назад то была столица государства от Атлантики до Каспия, от Балтийского моря до озера Чад, от Шотландии до Армении. За пределами римского мира — либо дикие племена, недостойные даже завоевания, либо несколько царств, столь удаленных (Парфия, Индия, Китай), что завоевать их, конечно, можно, но при тогдашних путях сообщения невыгодно.

Древние цезари на Форуме, чуть согнув колено, приветствуют Рим и мир легким свободным движением ненапряженной руки. Фашистский жест — вытянутая вверх прямая рука по сравнению с этим кажется паническим, искусственным; цезари же ленивы и спокойны. Мы нередко говорили с этим городом языком Пушкина, Мандельштама, Пастернака; теперь же Иосиф Бродский выражает то, что мы лишь сознаем:

Я счастлив в этой колыбели
Муз, права, граций,
Где Назо и Вергилий пели,
Вещал Гораций...

Понятно, — проходим через все круги ватиканского рая: галереи, капеллы, собор Святого Петра. 263 папы сменилось с 66 года н. э., когда был казнен первый из них, апостол Петр. Двести шестьдесят три: сейчас уже 264-й, Иоанн-Павел II. Не все имена первосвященников достоверны, целые десятилетия в начале нашей эры окутаны легендами; мелькает между прочим предание о папессе Иоанне, женщине, сумевшей обмануть кардиналов, но умершей от родов. В папском списке, проходящем через всю новую эру, знаменитые и грозные имена Иннокентия III, Григория VII, Сикста V, Климента XIV; многие причислены к лику святой: последним — Пий X. Сейчас «баллотируется» реформатор католической церкви, который вывел папство из многолетнего застоя — сардинский крестьянин Джованни Ронкалли, занимавший папский престол в 1958—1963 годах под именем Иоанна XXIII.

Через века смуты, инквизиционные костры, через грехи, заговоры, отравления, анафемы — папский престол имел в годы оны авторитет высочайший, религиозно и духовно объединяя десятки и сотни европейских королевств и княжеств, объединяя в тот период, когда, казалось бы, ничто не может связать темных, забывших древнюю культуру, голодных, ничего не знающих о ближайших соседях людей... И сегодня римский папа — важное лицо для нескольких сотен миллионов людей на земле; от этого факта никуда не уйти.

А ведь собор Святого Петра — в честь первого римского папы.

Писта Микеланджело: в соборе она за пуленепробиваемым стеклом, ибо психопатов, по-видимому, притягивает гигантская энергия, излучаемая гениальными произведениями. Психопат, кидающийся на картины Репина, Рембрандта, стреляющий в Микеланджело, в предель-

ной форме демонстрирует то, что свойственно тоталитаризму, фашизму и зараженной ими косной массе.

За пуленепробиваемым же стеклом — Пиета: усталая, бессильная даже для слез женщина, которая держит на руках только что распятого сына: а сыну 33 года, что по древним понятиям куда больше, чем означает этот возраст сегодня; мать держит на руках взрослого сына, беспомощного и оттого маленького. Может быть, оттого, что мы сами достигли и давно прошли возраст зрелости и по-прежнему малы, беспомощны в глазах наших родителей, живых и умерших, может быть, поэтому Пиета — про меня, про нас, про наших отцов и матерей...

Вечный город, как мы уже сказали, был населен в конце IV—V веке несколькими миллионами: больше, чем теперь; но ведь в VII—VIII веках, лет через 200—300 после падения Римской империи, там ютились среди развалин не более нескольких десятков тысяч человек.

Как учили старинные московские богословы, был первый Рим, погибший из-за своих грехов, второй Рим — Константинополь, «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать».

Не будем обсуждать эту стройную теорию и только позволим себе заметить, что и на Тибре был первый Рим, древний, — от Ромула и Рема до нашествия варваров; потом прозябал, хотя оставался важнейшим символом, заставлявшим франкских и германских королей величаться «императорами Священной Римской империи».

Затем — второй Рим, в эпоху Возрождения, при могущественных папах, для которых работали Микеланджело, Браманте, Бернини; Рим XV—XVII веков...

Следуют еще два века относительного прозябания — и вот третий Рим, современный, не просто столица Италии, но великая столица кино- и других искусств — «Рим — открытый город» Росселини, «Рим» Феллини; тот самый Рим, о котором итальянцы говорят примерно так: «Милан — европейская столица Италии; Неаполь — африканская или азиатская столица».

— Ну, а Рим?

— Рим — это Рим.

На Юг, на Юг...

Из Рима на Юг, февраль все зеленее, нас заверяют, что чем южнее, тем гостеприимнее. Путь наш лежит в небольшой по нашим понятиям районный город Фрозиноне. Сопровождающие римляне охотно сообщают: вон в той деревне на горе родился Цицерон, а в этом городке Фома Аквинский. Сейчас будет родина Гая Мария, а вон там, у моря, родился один из основоположников итальянского социализма Антонио Лабриола. Мы настолько привыкли, что где-то тут проезжал Петрарка, остана-

вливался Леонардо да Винчи, влюблялся Россини, что вроде бы не удивляемся, и это как раз и есть самое удивительное.

Во Фрозиноне, специально на встречу с нами, собирают лицеистов, то есть старшеклассников, и мы снова слышим о большой учебной и сексуальной свободе после 1968 года. Узнаем, что многие школьные вопросы решаются ученическим голосованием; и в то же время видим, сколь доброжелательно, почтительно несколько групп юношей и девушек беседуют там с одним учителем, здесь с другим; догадываемся, что сложился новый свободный тип отношений между педагогами и учениками, пройдя через крайности взаимной ненависти и панибратства.

Ученики и учителя меж тем долго дожидаются фрозинонского начальства, но никак не проявляют своего нетерпения: явно неплохо воспитаны; само же ожидание не сопровождается какой-либо парадностью, показухой (или уж итальянцы великие мастера маскировки!).

Но вот детям предложено спрашивать нас обо всем, что угодно, и они буквально выстраиваются в очередь, чтоб взойти на маленькую кафедру и задать свою задачку.

— Зачем вы приехали в Италию?

— Есть ли у вас в стране свобода искусства?

— Можно ли у вас заниматься Пастернаком? Нам очень нравится «Доктор Живаго».

— Дружный ли у вас был класс? (Тут Крелин и я, перебивая друг друга, сообщаем, что являемся одноклассниками, что, хотя прошло сорок лет со дня окончания нами 110-й московской школы, каждый год мы, «мальчики полутяжелого веса», собираемся, и с каждым годом приходит все больше «старичков»: сползаем теснее.)

— Расскажите какой-нибудь страшный эпизод из вашей жизни.

— Согласны ли вы с тем, что в романе Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников — это революция, а старуха — это власть? (Мы слышим такое в первый раз и, разумеется, не согласны, но притом признаем, что в борьбе революции с властью не все средства хороши.)

— Можно ли быть в СССР просто интеллигентом, не партийным и не диссидентом?

— Любите ли вы итальянское кино? (Объясняем, что воспитывались на неореалистических фильмах, и даже сейчас удивляемся в тех случаях, когда Италия не похожа на ту, что в «Риме в 11 часов», «Под небом Сицилии», «У стен Малапаги». То были очень важные ручейки высокой правды, освежавшие наши обширные резервуары и застойники лжи.)

— Не ожидает ли Горбачева судьба Дубчека?

— Верите ли вы газетам?

— Верите ли вы в Бога?

— Хотели б вы, чтоб ваши дети родились не в России?

Потом обычный, великолепный, «многоступенчатый» обед с профессурой, то есть учителями старших классов. Как всегда — быстрое

и доброжелательное обслуживание; вспоминаем: в Римини 24-летний красавец кельнер прекрасно разговаривал на четырех языках. Мы говорим ему комплименты — он в ответ: «Поэтому я имею работу».

С нами обедает юная деловая дама, следящая за местным телеуниверситетом: кассеты с лекциями раздаются заочникам, они их прокручивают на видео столько раз, сколько им надо, и затем едут в Рим сдавать соответствующие предметы.

Но тут начинается очень занятный монолог лицейского профессора, вокруг которого особенно густо роились ребята час назад. Синьор Массимо излагает нам нечто, продолжающее недавние речи Тонино Гуэрра об итальянской и российской духовности:

— Мы, итальянцы, принадлежим к той цивилизации, где лидирует Америка, но наши интеллигенты постоянно смеются над необразованностью и узкопатриотическими меркантильными интересами заокеанских коллег... Зато мы необыкновенно чтим русскую литературу, русский дух. Я должен признаться, что, побывав в России, чуть ли не в каждом прохожем, в каждом пьянице искал героев Достоевского, Чехова...

Я сдержанно замечаю, что всякая идеализация легко оборачивается разочарованием.

— Да нет,— восклицает профессор,— вы меня не поняли: я очень хорошо знаю недостатки вашей жизни, и я, кстати, не коммунист, а социал-демократ, то есть по-вашему как бы классовый враг... Я знаю, что советский квалифицированный рабочий получает в несколько раз меньше нашего; что у вас при Сталине погубили миллионы, активнейшую часть населения. Все это я знаю и, как догадываетесь, хорошо представляю высокий уровень нашего быта и демократии. Но дух, дух! Мы, итальянцы, народ традиционно духовный: должна быть цель, поднимающая массу выше примитивного, бытовой повседневности. Это может быть религия или искреннее стремление к социалистическому обновлению мира... Вот у вас, советских, есть цель, сейчас это перестройка. К тому же вы так много читаете, у вас такие тиражи, все читают...

— Смотря что: очень велик спрос на бульварную макулатуру.

— Нет, но все-таки читают. Ах, если б нам сохранить то, что имеем, да еще прибавить ваше духовное беспокойство...

Мы, понятно, отвечаем, что хорошо бы к нашему духовному беспокойству присоединить высокий уровень жизни и демократии.

«Если бы губы Никонора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича...»

Гостеприимные люди во Фрозиноне, а это еще далеко не самый Юг.

Итак, на Юг...

В то самое время, когда на Руси правил Всеволод Большое Гнездо, затем его дети и внуки, среди которых самый знаменитый — Александр Невский; когда Россия подверглась монгольскому завоеванию, — в эту эпоху жил, царствовал, кошунствовал, занимался наукой, развратничал, развивал просвещение Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи, король обеих Сицилий. «Он очень современен, — восклицает один из наших спутников, бывший священник, ныне активист общества Италия — СССР, — очень современен, ибо поднимался в ту эпоху над всякими религиозными различиями». Действительно, этот колоритный монарх, кажется, не верил ни в какого бога, отчего не препятствовал свободно жить, торговать, заниматься наукой в своих владениях и католикам, и православным, и арабам, и иудеям. Отец его — германский император Генрих VI, непокорный сын прежнего императора Фридриха Барбароссы; мать — из племени скандинавов, норманнов, которые завоевывали не только Русь (Рюрик, Олег), не только Англию (Вильгельм Завоеватель), но также выбили в XI веке у прежних властителей цветущие края Неаполя, Салерно, Сицилии. Впрочем, родителей своих Фридрих не помнил, они умерли, когда он был младенцем, и могучий папа Иннокентий III заботился о принце, надеясь, что со временем он вернет свой долг римским первосвященникам. Как бы не так! Фридрих боролся с несколькими следующими папами, пытаясь заблокировать их не только с юга, но и с севера; однако захватить Ломбардию не смог: слишком крепким орешком были маленькие города-государства свободной Италии; посему пришлось помириться с Иннокентием IV, обещать новый крестовый поход, отправиться в него, но вернуться с полдороги, подвергнуться проклятию папы, снова отправиться в Палестину, присоединив к своим титулам «король Иерусалимский» (при том, что Иерусалим отнять у мавров не удалось); затем снова схватиться с папской властью...

Наконец, разъяренный Иннокентий IV из Лиона, где он долго находился под защитой французского короля (подальше от козней Фридриха), послал отлучение от церкви Фридриху и всем его подданным. Строго говоря, после папского проклятия, «интердикта», должны были закрыться все церкви во владениях лихого Гогенштауфена, на целые годы прекратятся венчания и крестины. Однако, судя по всему, здесь, на юге Италии, может быть, под влиянием разнеживающего солнца или неслыханной веротерпимости, это проклятие было не слишком услышано. Подданные, в общем, были довольны своим королем, а он ими...

Перечитывая страницы южно-итальянской истории XIII века, мы восхищаемся и ужасаемся. Дело в том, что папские проклятия имели

свой резон: это был своеобразный призыв к единству перед лицом чудовищной опасности. Орды Чингисхана, а затем Батыя шли на мир, Русь затоптана, разорены Польша, Чехия, Венгрия; кажется, что вот-вот степная волна накроет пробуждающуюся Европу, города, университеты, проблески свободной мысли. Как раз из Лиона Иннокентий IV посылает на восток, в другой мир, другую вселенную, к великому хану монголов, своего посла славного монаха Плано Карпини, который, если сумеет пройти десять тысяч километров сквозь разоренные, враждебные земли, должен попытаться урезонить великого завоевателя и, конечно, разведать насчет его сил и намерений. Карпини чудом уцелеет, вернется через несколько лет с устрашающим посланием хана, призывающим Европу к покорности и обещающим ей скорый конец.

Тут бы Фридриху и всем другим монархам опомниться, сплотиться; но они будто знают, что на этот раз — пронесет...

Салернский медицинский кодекс, амальфианский морской устав. Сквозь дикое беззаконие темных веков, в изгибах развратных проделок немецких, византийских, анжуйских, арагонских, мавританских, неаполитанских королей, упорно пробиваются, обретают жизнь, гибнут, снова пробиваются зерна гуманности, современного права, законности. Опять и опять вспоминаем строки Вольтера, столь полюбившиеся Чаадаеву: «Можно спросить, каким образом среди стольких потрясений, гражданских войн, заговоров, преступлений и безумий — в Италии, а потом и в прочих христианских государствах находилось столько людей, трудившихся на поприще полезных или приятных искусств».

Очень и очень интересно наблюдать, как в толще веков не гаснет, светится **традиция**. Когда-то в Казани, в одном из первых университетских городов России, мы обратили внимание на два факультета, которые и сегодня там самые лучшие, — математический и химический: сквозь исторические бури и революции прошла и сохранилась традиция, в одном случае Лобачевского, в другом — Бутлерова.

Салерно — Амальфи: как удержаться от междометического описания берега, особой фиолетовости моря, немислимых норманнских башен на крутизне (в одной теперь бар, в другой — отель); как удержаться от пересказа того, что поведал нам профессор Микеланджело Руссо, — о труднейшей борьбе, которую он, юрист, ведет против частных кампаний за сохранение местного пейзажа («в то время как в Испании, увы, власти уже сдались и разрешают в самых живописных местах строить 30-этажные отели»). Удержимся и от описания врезанного в скалы и пещеры Амальфи; от того поиска гробницы неистового папы Григория VII (это он заставил надменного императора Генриха IV покаяться в Каноссе), которым мы обременили служителей салернского собора Святого Матфея (там, по преданию, хранятся останки одного из четырех евангелистов). Мы отыскивали Григория VII с помощью вежливого падре, а тот сразу стал спрашивать нас о перестройке и хвалить русских, «которые

хорошо относились к итальянским пленным во время последней войны,— а ведь мы, итальянцы, были перед Россией не правы...».

Не рассказав обо всем этом, все же вернемся к начатому и поведем, что медицина и ныне в Салерно пользуется особенным, вероятно, историческим уважением: то, что здесь тысячу лет назад была медицинская столица Европы, даром не прошло.

И пусть маленькая республика Амальфи погибла под норманнскими ударами с моря, не вытянув счастливого исторического жребия Венеции или Сан-Марино, — но памятник Джойе, изобретателю компаса, давно стоит у моря, и тысячи кораблей, даже не подозревая о существовании Амальфи, прокладывают курс по изобретенному там прибору, а сверх того улаживают дела по законам, происходящим от здешнего морского кодекса.

Удивительно, особенно остро заметное российскому глазу «несоответствие»: десятки королей, завоевателей — династии все больше иноземные — кто-то хуже, кто-то лучше Фридриха Гогенштауфена, но все это почти не колеблет жизни, обихода, крепко вросших в приморские скалы, не выгалькивает древние исторические корни — вольность, право, демократию, самостоятельность. Да, фашизм мог утвердиться в Италии, как прежде десятки других тиранов и деспотов, но задел лишь верхний слой. Глубина же, дребри — все те же, и тут есть над чем задуматься и о чем вздохнуть...

Еще южнее...

В Салерно уже почти не было людей, говорящих по-русски, и мы заключили, что там, на юге, их не будет и подавно. Вообще, несмотря на множество англоязычных и немецкоязычных гостей, Италия эти языки знает много хуже, чем мы ожидали (или притворяется?); вся надежда на французский, который издавна преобладал в итальянских школах и лицах. Совсем как у нас немецкий перед войной...

Мы едем в глушь, в самые бедные, безработные края, поезд мчится вдоль Тирренского моря. Глушь, Калабрия, где, согласно художественной литературе и операм, бесчинствовали калабрийские разбойники. Город Реджо-де-Калабрия — на самом носке, «пыре» итальянского сапога, а там, через пролив, — Сицилия, Мессина.

И вдруг слышим в вагоне: «Мальчики, вы же русские, я вас нашла, я же говорила, что найду!» И перед нами возникает добродушная, румяная женщина, почти соответствующая тому представлению, которое господствует о россиянках за границей: Тамара, Тома из Ивановской области, вышла замуж за студента-итальянца Альфредо, познакомившись с ним в Ленинграде. Здесь он инженер на железной дороге, добрый, хороший, «правда, много времени проводит в своей коммунистической

ячейке»; у них двое детей — «когда я езжу с ними к маме в Россию, они вспоминают русский язык, а тут забывают. Но, поверите ли, некоторые подруги от меня отвернулись, прокляли, можно сказать; говорят, что я изменница и все такое прочее. А почему же?»

Позже, на квартире у Тамары и Альфредо, мы спрашиваем 9-летнего Сашу, за кого он будет болеть в завтрашнем футбольном матче СССР и Италии.

— Я прямо не знаю. Если буду болеть за Италию, мамочка огорчится. А за Россию, папочка обидится.

В первые же полчаса нашего пребывания в Реджо-де-Калабрия мы пережили одно из сильнейших за всю поездку потрясений, но о нем надо поговорить особо.

Сначала же расскажем про встречу с рабочими.

— Ваши впечатления от Италии?

— Вы сейчас боретесь за демократию, учтите, что у нее много минусов. (Обещаем учесть.)

— Влияли ли русские на Италию? (Говорим о Толстом, Достоевском, о русских революционерах, между прочим, вспоминаем, как Михаил Бакунин — великий анархист, громкий оратор — высадился на италийской земле и буквально через несколько месяцев бакунизм на Апеннинах взял верх над большинством других течений.)

— Долго ли продержится Горбачев?

Реджо-де-Калабрия для нас особенно любопытен, так как почти никто из друзей, даже профессионалов-итальянистов, здесь не бывал.

Какое счастье, что мы запомнили, по рассказам Лоры и Тонино Гуэрра, о необыкновенных находках, хранящихся в здешнем музее. Счастье, потому что если б мы заранее не знали, то спохватились бы лишь вечером, когда музей уже закрыт, а затем следовали воскресенье и понедельник, выходные музейные дни, и мы бы не увидели...

А так мы вовремя спросили — встречающие вовремя рассадили нас по машинам, подкатили к музею, когда двери его уже запирались, и выпросили разрешение взглянуть на них. Только на них!

И мы взглянули. И не можем опомниться до сей поры.

Риаччи

В 1972 году любители подводного плавания в 500 метрах от берега обнаружили крупные металлические предметы. Вскоре в местечко Риаччи близ Реджо были доставлены специальные приспособления для извлечения находок, и затем из вод Ионического моря поднялись залепленные илом и водорослями две бронзовые статуи, которые тут же доставили к лучшим реставраторам во Флоренцию, долго их мыли, чи-

стили, изучали и наконец выставили пред глазами публики, которая была потрясена, хотя давно отучилась «потрясаться». Неделями в Риме стояли длинные очереди, о статуях толковали, спорили, писали статьи, а также исторические, географические, этнографические, искусствоведческие, наконец, сексологические трактаты. Одни стремились пробиться к их благодати, и были уверены, что это не кто иные, как святые Козьма и Дамиан, согласно легенде также вышедшие из моря; другие, наоборот, предостерегали об общении с «бронзовым ужасом», потому что и те, кто впервые увидел этот металл на дне Ионического моря, и те, кто извлекал на поверхность, и те, кто описывал, — почти все вскоре умерли или погибли при разных несчастных обстоятельствах: точно так, как это было с открывателями гробницы Тутанхамона в 1920-х годах...

Рим старался оставить бронзовых атлетов у себя, но Калабрия взбунтовалась (говорят, что была даже готова отделиться от Италии): с огромным сожалением две фигуры, столь привлекательные для миллионов туристов, были перевезены: на самый кончик итальянского сапога, но зато придали тамошнему музею всемирное звучание...

И вот, благодаря любезности музейщиков Реджо, мы успеваем взглянуть на них.

Два абсолютно обнаженных могучих, атлетически сложенных воина. Потускневшая бронза принимает и отражает свет из-за окон, и мы знаем, что химики сумели взять точные пробы этой бронзы, чтобы по составу примесей и другим признакам точно определить, когда и где были сплавлены эта медь с этим оловом. Ответ был довольно точным и волнующим: Греция, Афины, между 450-ми и 430-ми годами до н. э. То, что статуям более 24 веков от роду, — это еще не удивляло; но ведь это Афины времени Перикла и Фидия, того невероятного, хоть и кратковременного расцвета свободы и искусства, которые, можно сказать, одухотворили все сто последующих человеческих поколений.

Афины и, по всей видимости, школа Фидия.

Для того чтобы эти статуи сдвинулись с места и легли на корабль, Риму понадобилось в 146 году до нашей эры присоединить Грецию и начать вывоз сокровищ для богатейших итальянских городов и вилл. Не ведем пока, в каком точно веке и году некий корабль плыл из Греции и, обогнув Пелопоннес, приближался к Мессинскому проливу — тому самому, в котором воображение Гомера видело Сциллу и Харибду. Мы мысленно представили только, как вдруг приходят в движение итальянский и сицилийский берега, сближаются в чудовищной катастрофе, и гигантские волны несутся во все стороны из-под каменных челюстей. Скорее всего буря у входа в пролив заставила древних моряков избавиться от лишнего груза; а может быть, иначе: лица воинов показались приносящими беду, и суеверие взяло верх над красотой.

В любом случае, рядом с тем местом, где были обнаружены статуи, не отыскалось никаких следов кораблекрушения, и это необычно; это

придавало статуям еще большую таинственность. Их бросили в море без копий, которые явно должны были быть вставлены в специально для того согнутые пальцы правой руки; и без щитов, которых дожидались согнутые левые. Копья и щиты, по всей видимости, лежали рядом на корабле: их смонтировали бы с фигурами, если бы они дошли до места...

Но если бы дошли, то с очень большой долей вероятия мы бы их никогда не увидели, так как голое тело было противопоставлено христианской цивилизации: статуи, скорее всего, были бы сокрушены фанатиками последующих веков.

Выходит — переждали опасность на дне океана, чтобы явиться к подготовленному человечеству...

И мы ходим вокруг великолепных атлетов, разглядываем. Если бы они были малы — полметра, метр, — мы бы хорошо ощущали разницу подлинных человеческих параметров с бронзовыми. Та же дистанция между реально человеческим и скульптурным, пусть по-другому, была бы очевидной и в том случае, если бы статуи были огромными, в несколько метров. Однако особое знание древних мастеров проявилось в том, что их атлеты — ростом в 2 метра 20 сантиметров — почти что люди, но выше. Это противоречие, вместе с особым обликом воинов, тусклостью бронзы, странными обстоятельствами их появления, — все это придает двум Риаччи способность восхищать и ужасать.

Ужас вдруг ожившей статуи, как известно, постоянный сюжет в литературе, особенно XVII—XIX вв.: командор в Дон-Жуане, Медный Всадник Пушкина. Оба эти исполина, впрочем, изначально возвышались над обыденно-человеческим и поэтому, когда неподвижны, то не столь страшны, как монументы, более «человеческие» по размерам и виду. Такие, например, как в страшной повести Мериме «Венера Ильская»:

«Поистине, чем больше всматривался я в эту поразительную статую, тем сильнее испытывал мучительное чувство от мысли, что такая дивная красота может совмещаться с такой полнейшей бессердечностью».

Красота, ужас и в атлетах Риаччи. Дело не в сопоставимости и несопоставимости этих богатырей с нами. Что-то чужое в их великолепии: даже кажется, что чем больше человеческой, мужской красоты в каждой фигуре, тем более неприятна эта красота.

Какая иллюзия, что мы их понимаем, чувствуем — древних предков! Их похожесть более чем обманчива, и только по наивности нашей и наших прадедов мы стали думать, начиная с XIV—XVI веков, будто чувствуем, угадываем логику, психологию, душу, мысль античной цивилизации.

Нет! При всей огромной разнице эпох и обстоятельств, Леонардо да Винчи, Рембрандт — это наши люди, а те — за две-три-четыре тысячи лет до нас — не наши. Только сейчас, на исходе XX века мы, кажется, начинаем о том догадываться, и это, конечно, не случайно...

Начинаем догадываться, так же, как крупнейшие знатоки Древнего Востока знают (в данном случае мы пользуемся информацией выдающегося ассириолога Игоря Михайловича Дьяконова), что чем больше древнешумерских и древнеавилонских текстов прочтет и осмыслит специалист, тем больше он убеждается в огромной несовместимости психологий, в том, что *тех* все же не поймешь; чисто внешне — особенно для начинающих, кто прочел 50, 100, 200 текстов, кажется, что *понять можно*; но после 10000, 50000, 100000 изученных табличек выходит, что *нельзя*.

То, что психология разных эпох отличается куда сильнее, чем это считалось раньше, наверное, само по себе является великим открытием или ощущением, свойственным нашей эпохе.

Может быть, оттого мы столь «умны», что добрались уже до высочайшего перевала, откуда можно попытаться взглянуть на собственное будущее?

Бронзовые Риаичи восхищают и устрашают: это вещественные знаки гигантской цивилизации, с определенными обычаями, устоями, традициями, мышлением.

После детски-цельных, наивных классических веков (примерно VI—II вв. до н. э.) явились века эллинизма и Рима, когда человечество как бы стало более взрослым, умудренным; для него жители прежних столетий уже кажутся наивными детьми; но зато у тех предков было свойство создавать прекрасное искусство, чему мешают присущие потомкам скепсис, расчленение целого на части пытливым разумом.

Мы нарисовали смену «органических», детских веков «критически», взрослыми.

Но не то ли происходит в XX веке с его преобладанием абстрактного разума и анализа — по сравнению с куда более цельным, «детским» XIX и более ранними столетиями?

Тогда, в последние римские века, цивилизация была усталой и соединяла великую тонкость с чертами гниения и упадка. Как в XX веке нашей эры.

Тогда, в III—V веках нашей эры, выросли огромные левиафаны-города; прежде всего Рим, вместившее миллионы людей, противоречивый ступок цивилизации и упадка, столь отличающийся от патриархальной идиллии дедов и прадедов. Как в XX веке нашей эры.

Реалистические формы искусства явно уступали место более условным, абстрактным, порой мистическим. Как в XX веке нашей эры.

В самых цивилизованных центрах возникало предощущение упадка, гибели, мировой катастрофы, хотя не было столь ясного ее носителя, как атомная бомба в конце 1900-х.

Тогда, в начале нашей эры, долгая, уставшая цивилизация испытывала огромное физическое, идейное давление со стороны окружающих, многочисленных, но несомненно более отсталых народов, «мира варваров». Примерно 1/5 человечества, населяющая в наше время так называ-

емые развитые страны, стоит перед сходной проблемой крайне сложных отношений с куда более бедным, отсталым, но в четыре раза более многочисленным «третьим миром».

Тогда, в III—V вв., все большее число людей приходило к полному отрицанию своей цивилизации, отрицанию Гомера, Архимеда, Горация: удалялись в пещеры, скиты, искали разные формы ухода от этого мира, среди которых наиболее эффективным оказалось христианство.

Но нет, нельзя, невозможно, не нужно доказывать, что классическая Греция лучше позднего Рима, барокко хуже ренессанса, что XX век уступает XIX и т. п. Всему свое время — каждая эпоха законная преемница прошедшего и предшественница будущего.

Такова природа вещей!

Усталость, закат великой цивилизации в последние века Рима.

Усталость, закат нашей цивилизации в конце второго тысячелетия...

Усталость, упадок той цивилизации был длительным, несколько веков, — но к чему он привел?

Под давлением варваров и вследствие собственного разложения старый мир рухнул, прекратился или коренным образом преобразовался (например, в Византии).

Повторим, что в Риме в IV веке было около 4 миллионов человек, а три века спустя — от силы несколько десятков тысяч.

Сотни тысяч приспособленных только к привычной изнеженной рабовладельческой жизни истреблены, погибли от голода (куда больше, чем от руки завоевателя: стоило разрушить привычную хозяйственную систему; точно так же в несколько раз уменьшилось население средневекового Ирана после монгольского завоевания; и современной Кампучии после Пол Пота: страшные казни унесли лишь часть жертв, остальное — голод).

Итак, великая, городская, античная цивилизация прекратилась, «рассосалась». Центр человеческих отношений перенесен из города в деревню; вместо цивилизованного изысканного рабства наступила дикая воля. Да, прогресс, феодальный мир на смену рабовладельческому; но притом совершенно меняется система ценностей, как будто мы перенеслись на другую планету. Почти исчезает грамотность, гибнут за ненадобностью произведения гениальных античных мастеров, совершенно иные критерии в архитектуре, музыке, живописи, поэзии, в быту. Ну, разумеется, на свете нет ничего абсолютного, кое-какие античные ручейки (особенно в Италии!) постоянно пробиваются и сквозь огромный средневековый ледник. Однако понадобится примерно тысяча лет, несколько десятков поколений, чтобы люди воскликнули — **Ренессанс! Ринашита! Возрождение!**

Возрождение, то есть возвращение к утраченной цивилизации: начало энергичных поисков еще «живых» древних рукописей и памятников; убеждение, что теперь, 1000 лет спустя, в XV—XVI веках, происходит

возвращение в Афины и Рим, хотя это было не совсем так, а вернее, совсем не так...

Вот что будет, наверное, и с нами. Надеемся,— не сразу, не быстро, может быть, в течение нескольких веков,— не дай Бог, от разрушительных войн; или благодаря слишком настойчивым поискам источников энергии (римляне ведь тоже слишком усердно искали эти источники и для того набрали рабов; сегодняшние рабы страшнее — невидимые электроны и нейтроны). Так или иначе, но вполне вероятно, что лет эдак через 200 образуется мир, который будет так же соотноситься с нашим сегодняшним, как раннефеодальные века с античными.

Мы не в силах более подробно вычислять и предсказывать это будущее, так как мыслим категориями нашей цивилизации. Возможно, что там, в XXII—XXIII веках, забудут Леонардо, Шекспира, Пушкина, Толстого, — но, конечно, выработают свои материальные и духовные ценности. Возникнут иные цивилизации, иные границы, иное мировоззрение... А затем, через тысячу лет или вдруг пораньше, наступит новое возрождение, когда археологи будут радостно сообщать об открытиях изумительных книг и картин XV—XXI столетий!

Может быть.

Граница цивилизации похожа на непробиваемую хрустальную грань, сквозь которую ты видишь тех, прежних, и кажется, что они рядом — а не пробьешься.

Об этой границе и грани мы думали, вглядываясь с восхищенным ужасом в глаза двух калабрийских богатырей; глаза, глядящие на нас и сквозь нас, отчужденно и странно; глядящие в те далекие века, что позади, и в те далекие, что впереди...

Еще и еще южнее...

2400 лет назад Сиракузы разбили афинян и захватили 7000 пленных. С пленниками принялись беседовать об афинских литературных новостях, и того, кто мог поддержать разговор свежими новостями о выходках Сократа, последних постановках Эсхила и Эврипида, отпускали: остальных казнили.

Одна из самых своеобразных форм триумфа культуры над невежеством...

В теперешних Сиракузах 120 тысяч жителей, — во времена Архимеда примерно полмиллиона.

В 1988-м — конференция, посвященная 2200-летию со дня смерти Архимеда.

Мы узнаем, что с мая по октябрь в Сиракузах страшная жара, на небе ни облачка, и поэтому корабли, подплывающие к древнему городу,

еще не видя берега, замечали нечто вроде дневного маяка — солнечное сияние, отраженное в океане огромным золотым диском.

— Как же Архимед работал при такой жаре?

— В ванной. Ведь выливавшаяся оттуда вода в момент погружения его тела и была ключом к открытию великого закона, — и только в такую жару можно было голышом нестись по улице с криком «Эврика!».

Кафе «Аретуза» (в честь нимфы, превратившейся в тростник), бар «Алфей», трагтория «Архимед», эмблема которой — образ древнего мыслителя на кусочке папируса (этот «египетский» тростник растет по берегам здешней реки); площадь Архимеда, набережная Дионисия: старинный тиран прославился, между прочим, особой системой подслушивания, будто бы соединявшей дворец с городом, так что сквозь «дионисиево ухо» было слышно все, о чем говорят граждане; мы бывали в этом «ухе», мрачной пещере с необыкновенным эхом. Разумеется, через нее тиран ничего подслушать не мог, но само существование людей, веривших, что он на это способен, доказывает, что Дионисий был человеком серьезным.

Древняя Греция здесь в почве, воздухе, пейзаже; точно так, как Древний Рим, Возрождение — в более северных итальянских областях. Разумеется, здешние жители — итальянцы (в Италии вообще коренная нация составляет 98 % населения); но мы сами, особенно с помощью местных друзей, легко угадываем то в одном, то в другом встречном черты мавританские, греческие...

Снова и снова повторим, что занятые повседневными заботами сиракузяне могут и не думать об Эврипиде, который специально сочинил комедию для здешнего театра (она, увы, не сохранилась), об Архимеде, о древних тиранах, мореплывателях — могут не думать, но не могут от них избавиться: они здесь, растворенные во всем; они сегодня и вчера.

Почти каждый день в местный музей (новое здание, недавно построенное по последнему слову музейной техники) приносят какую-нибудь находку. Из старинных водоемов и бассейнов — сотни статуэток благоговящей богини Деметры: их бросали на счастье в воду, и этот предмет древней народной массовой культуры вдруг сближает с ушедшими веками больше, чем иной прекрасный неповторимый памятник...

Сотни маленьких грубоватых Деметр; могильная надпись от первого лица: «Я, такой-то, здесь лежу» (очевидно, древние греки были со смертью не на «ты», а на «я»); могила ребеночка с игрушками, маленькой тележкой; смеющаяся, хохочущая фигурка: у одних рот распахнут от смеха, — это необузданный, отчасти непристойный ионический смех; на других ликах улыбка, направленная внутрь и вызванная собственными мыслями, смех дорический.

Это, очевидно, символ человеческого смеха вообще, да что смеха: истории, быта, жизни.

Мы хохочем над другими — или грустно усмехаемся над собою.

Каким смехом смеешься ты, читатель,— ионическим или дорическим?

Ионическое эхо легко воспроизводилось на сцене древнего театра, самого большого античного театра из всех, что сохранились в мире. Здесь, без сомнения, сиживал Архимед, звучал Эврипид,— а на одном из самых выгодных мест (всего их 15 тысяч) вырезаны буквы, свидетельствующие, что здесь восседала царица Филизинда, жена того самого тирана Гиерона, по приказу которого Архимед изобличал нечестного ювелира и между делом открывал собственные законы...

А вечером, когда очередной закат совершился над одним из самых древних городов мира, нас весьма торжественно принимают в местном муниципалитете, и владелица популярного телеканала госпожа Паризини читает наизусть Ахматову по-итальянски, мы же, как водится, отвечаем на вопросы.

— Изучают ли в советских школах итальянский язык?

— Какой из недавних итальянских фильмов вам по душе?

И опять нас спрашивают, сколько народу «за» и «против» Горбачева.

Отвечаем, что точной статистики нет, что многие кричат «ура», а сами ненавидят. В провинции люди хотят видеть быстрые результаты перестройки. Главное противоречие истории и жизни в том, что жизнь коротка, торопит, история же нетороплива: что ей лишних 10—20 лет?..

И тут поднимается пожилой человек с металлическим выражением лица и спрашивает, нет, точнее, выкрикивает: «Я так думаю, что у вас настоящий социализм был только при Сталине, а сейчас вы продаетесь капитализму, забыв, что при капитализме не может быть свободы!»

— Если вы называете социализмом то, что губит и обездоливает миллионы людей, то берите его себе. А мы возьмем себе тот социализм, при котором людям лучше и свободнее...

Не столько, может быть, содержание, сколько зычная форма сказанного срывает аплодисменты слушающих. Но я рассказываю об этом не для того, чтобы похвалиться, но лишь затем, что среди аплодирующих вдруг оказывается... и сам наш сталинист с металлическим лицом!

Он тоже аплодирует, и в этом его коренное различие с аналогичным ему персонажем российской аудитории. Все-таки для него, сиракузянина, все эти наши приливы-отливы — пусть важное, но все же занимательное зрелище, происходящее где-то в стороне от главных его жизненных обстоятельств...

А через час или два в траттории «Архимед» мы ведем оживленный диалог с членами общества Италия — СССР, среди которых бывалые функционеры. Снова и снова о послевоенной судьбе Италии.

Для нас все-таки Рим, Милан, Неаполь, Сицилия — это коллективный герой неореалистических фильмов; но вот мы прибыли на место

действия и не видим или почти не видим трупп, истощенно вопящих женщин, печально греющихся на солнцепеке безработных. Где это все? Что произошло с неореалистической Италией?

Нам отвечают, что страна сильно изменилась:

— Для вас, советских, окончание 2-й мировой войны вроде бы вчерашний день, и это понятно, вы так много людей потеряли на войне...

Неореалисты изображали Италию такой, какой она была после войны: тогда закипали революционные бури,— и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы примерно с 1960-х годов мы не начали так хорошо жить (вспоминаем слова Гуэрра о том, что бедные за сорок лет стали много богаче).

— Но как вам это удалось, ведь мы столь привыкли к образу бедной, не очень любящей работу, в лохмотьях, поющей беззаботные песни Италии? Ведь у вас практически нет полезных ископаемых — а за последние годы вы так рванули!

— Да, наш уровень сегодня уступает США, Японии, ФРГ, Швеции, но не ниже Англии и Франции.

Наши собеседники загибают на пальцах те причины, что привели к такому буму: «Во-первых, мы проиграли войну, стало быть, долго не имели права на военный бюджет: все эти деньги шли в полезные дела. Во-вторых, конечно, помощь Америки, общий рынок...»

Мы перебиваем, предположительно называя третью причину: туризм, огромные средства от туризма.

— И да, и нет. Туризм может и законсервировать отсталые формы экономики: если деньги сравнительно быстро переходят от иностранных путешественников, то стоит ли вкладывать душу и средства в новые отрасли? Туристские деньги могли помочь Италии только после того, как она серьезно взялась за дело. Могучий союз умов,— промышленники, социологи, экономисты, функционеры Италии, особенно северной, выработали оптимальный план процветания страны; тут сыграла роль и наша предыдущая отсталость: отсутствие ряда отраслей облегчило их создание, так сказать, на пустом месте,— и вот рванулись вперед электроника, химия, современнейшая автомобильная промышленность. Оказалось, что страна может работать, если работа выгодна.

— Ну, а забастовки, левое движение?

— Мы слышали, что у вас в СССР это считается чем-то наносящим удары капитализму... Наоборот! Левые вырывают у капиталистов важные уступки, добиваются повышения зарплаты, усиления демократизации, что в свою очередь столь положительно действует на население, на его энергию, инициативу, что это еще более способствует бурному движению вперед. В известном смысле меняется даже национальный характер, что вы и заметили, не найдя ожидаемого числа крикливых женщин и голопузых безработных...

— Но все же безработные?

— Да, около трех миллионов, и больше всего у нас, на юге. Это проблема серьезная и важная.

— А вот перед вами живой носитель этой проблемы,— вступает в беседу переводчик Себастьяно.— Я, как видите, неплохо говорю по-русски, даже перевожу Хлебникова, но постоянной работы в 28 лет еще не имею; пробавляюсь временными заработками, вроде того, что получу за вас. Однако устраиваться на какую-нибудь постоянную работу не по специальности пока воздерживаюсь: если в моих бумагах будут значиться труды *не по специальности*, то я не получу того места преподавателя русского языка в лицее, которого дожидаться...

— Но кроме безработицы, еще наркомания, терроризм, мафия.

— Как знать, может быть, кроме дурного, в этом есть и хорошее.

— ???

— Пока у нас есть проблемы, мы стремимся их разрешить и духовно не застываем, как, например, скандинавы, у которых, можно сказать, нет проблем и оттого — первое место в Европе по самоубийствам.

— Что ж, выходит, чем хуже, тем лучше?

— Вообще-то да; вот у вас в СССР столько проблем, и поэтому духовные стремления сильны, не то, что у нас!

Подобное мы слышим уже не впервые, и у нас наготове крепкий, опровергающий пример: Япония. И экономические достижения огромны, и дух крепок.

— Япония — это Япония; к тому же это Восток, а там, где есть религиозно-нравственная платформа, там смысл жизни является как бы сам собою... Вы еще коснулись террористов и мафиози: с первыми пока что, можно сказать, справились или почти справились. Итальянцы слишком хорошо живут, чтобы надолго увлечься идеями террора, полного взрыва своей системы; а вот мафия — другое дело. Она отнюдь не против, наоборот, за благосостояние. Именно огромный рост заводов, строительства, транспорта — все это усиливает ее стремление незаконным путем урвать максимум возможных доходов. Строится, например, какой-нибудь мост — является мафиози и требует, чтобы выгодный подряд был отдан их людям; в случае отказа начинается саботаж, затем террор, сверх того, давление из центра провинции, даже из Рима, где у них всех свои люди. А у вас в стране нет подобных мафий?

Пора на Север

Катания. 500 тысяч жителей, 850 тысяч частных машин. Апогей сицилианского гостеприимства и общительности.

Мы стоим на площади, и минут через 10 нам предлагают по чашечке кофе: владелец автостоянки, на территории которой находимся, полагает, что мы как бы у него дома, и угощает от чистого сердца.

Бросок на Этну. Вулкан угрюм, регулярно выбрасывает облака дыма: «Мы не боимся, когда дымит, опасаемся, когда умолкает, — это значит, что вскоре будет взрыв, извержение».

В последний раз Катания погибла под лавой в 1693 году; в последний раз лава текла, правда, в стороне от города, шесть лет назад. Зато город берет реванш: все постройки Катании из этнинской лавы.

Недавно две американки отправились к главному кратеру. Им мало ближнего, у которого мы останавливаемся в кабачке «Огни Этны» (ликер «Дым Этны» 80 градусов); американки проникли в запретную зону, а Этна возьми да и вздохни сильнее, — и они погибли...

В довершение всего мы опаздываем на самолет и оказываемся на аэродроме за 10 минут до отлета, абсолютно убежденные, что никуда нас не впустят. Но нет, впустили без всяких криков, с улыбками.

Через 40 минут Болонья, затем Равенна: мы опять на севере.

Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

.....

Далеко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди — все гроба,
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

.....

Лишь по векам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.

Комментарий к гениальным стихам Блока (о которых хорошо знают наши равеннские друзья) налицо: циклопический мавзолей Теодориха, малограмотного, кровавого, полусумасшедшего покровителя науки, искусств, который уничтожил Одоакра через несколько лет после того, как сам Одоакр истребил последнего римского императора (однажды, точнее 15 августа 1976 года, автор был приглашен на пир и никак не мог отгадать причины оно: оказалось, что московские эрудиты отмечали 1500-летие падения Римской империи).

Стихи Блока о Равенне относятся к моим семейным воспоминаниям: отец, сидя в начале 1950-х годов в буре (бараке усиленного режима) Воркутинского лагеря, был неожиданно спрошен из соседней ячейки:

— Эй, фрайер, стихов знаешь? Есенина можешь?

— Блока могу.

— Жми Блока.

Отец прочитал немало стихов, а под конец Равенну. Чтение шло так: он произносил строку, в соседнем отсеке ее повторяли, передавали в третий, оттуда в четвертый, пятый — и так до пятнадцатого. Можно вообразить, какие необыкновенные изменения претерпевали поэтические строки при этом 15-кратном воспроизведении; но, видно, и в такой форме действовали сильно, ибо все время требовали: «Давай еще, еще». И когда запасы памяти были исчерпаны, потребовали на бис — «эту самую Равенну».

И что им, арестантам, каторжникам, уголовникам начала 1950-х годов на далеком полярном Урале — что им Равенна, Теодорих, Данте? Но, может быть, в самих непонятностях была особая тайна, и поэтому снова и снова: «Фрайер, еще давай Равенну!»

Вообще в этом странном центре, очень непохожем на другие итальянские города, в Равенне, которую завоевывали и вест-готы, и византийцы, и Венеция, и Франция, и папа Римский (но самое любопытное, что каждый завоеватель почти ничего не разрушал из того, что было сделано разбитым врагом), — в Равенне отовсюду почему-то наступала на нас замечательная русская поэзия.

Могила Данте, которую местные жители защитили от флорентийских притязаний: «Вы выгнали, мы приютили»; могила Данте с длинной латинской надписью, которую начинаю разбирать и вдруг наталкиваюсь на загробную реку Флегетон, и сразу — в 1958-й. Анна Ахматова:

Не мудрено, что не веселым звоном
Звучит порой мой непокорный стих.
И что грущу. Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.

На соседней фреске повелитель мира, Юстиниан, с важнейшими мужами империи, среди которых главный его полководец Велизарий.

И сразу, «сам собою» является Иосиф Бродский, поминающий маршала Жукова:

Блеском маневра о Ганнибале
Напоминавший средь волжских степей.
Дни свои кончивший грустно, в опале,
Как Велизарий или Помпей.

Равенна, — ум уцелевшая во время войны, когда американская артиллерия готова была разгромить уникальный храм Сан-Аполло с изображениями апостолов в виде овец, но польский офицер американской службы Владимир Попский уговорил свое командование не стрелять, вступил в контакт с итальянскими партизанами и выбил фашистов. Конечно, с большими жертвами, чем в случае артиллерийского удара, но тем не менее он национальный герой Равенны...

Европейская столица Италии

Милан — дело известное: Миланский собор, Тайная вечеря, театр Ла Скала и многое, очень многое другое. Город гигантский, машин меньше на душу населения, чем в Катании, — автобусы и трамваи играют роль.

Долго едем в автобусе из центра на окраину. Тесновато, но не очень (итальянцам, побывавшим в СССР, очень нравится анекдот о том, что в московском метро в часы пик женщина может родить, а в ленинградском забеременеть...). Рейс длится долго, потому что на улицах частые пробки. Есть время приглядеться к пассажирам. Если сравнить с нашим отечественным транспортом, два отличия бросаются в глаза: во-первых, спокойная доброжелательность. Об этом уже говорилось. А во-вторых, почти ни у одной женщины нет в руках продуктовой сумки, даже легкой: зачем? Все и всегда продается рядом с домом.

Один из крупнейших продовольственных магазинов: мало того, что десятки, сотни разных съедобностей сгруппированы в живописный дизайн; мало того, что в огромных аквариумах, «океанариумах», плавают и дожидаются покупателя сверхдиковинные рыбы, — но еще и горит очаг, над ним, как в средневековых тавернах, плавятся жиром колбасы, изумительный аромат дополняется картинами в духе старых голландцев, и тут же рядом обворожительной красоты банки с грибами...

Вдруг вспомнилось, как покойный Павел Филиппович Нилин рассказывал об Иркутске последних лет нэпа: в его устах пересказ меню ресторана «Палермо» звучал как колоритнейшие мемуары; мемуары дополнялись еще и описанием продуктовых магазинов Иркутска, «где ввиду большой длительности пути по Сибирской магистрали до центральных областей, а также недостатка холодильников имелось неслыханное обилие и великое разнообразие сибирских вкусов». «Чур ме-

ня!» — заканчивал свои продовольственные воспоминания Павел Филиппович. «Чур нас!» — говорим мы...

И отправляемся в Миланскую библиотеку, чтобы познакомиться с некоторыми историческими документами по истории советского народа, недавно появившимися на Западе.

Смоленский архив был захвачен немцами, после войны оказался у американцев.

Позже вышли сборники документов — и мы принимаемся за чтение:

6 октября 1929 года. Совершенно секретно — от уполномоченного Погарского района в обком партии: «Сам секретарь обкома Шкляров, давая сегодня политическую установку наступления на кулака, впал в филантропию. Его установка — нажимать, но оставлять на посев, на прокорм семьи, детей, подсчитывать излишки». Это, по сути дела говоря, забота о кулаке, а не нажим на него, я так это здесь и формулировал и говорил: «Когда наступаешь, не жалей, не думай о голодных кулацких детях. В классовой борьбе филантропия — зло».

А вот что записал сельский грамотей деревни Юркино Ельнинского уезда за своими односельчанами: «Постановление ВЦИКа приветствуем о порядке самообложения и заботу правительства о нас, но только не деря шкуру с нас, крестьян. Начисляемую сумму платить мы не желаем, так как Смоленская губерния причислена к разряду голодающих. У нас такие граждане, что сегодня поел — завтра голодная смерть. Находим нужным... нашему правителю товарищу Калинин у стремиться уменьшить свои расходы и аппетиты питающихся белым хлебом, у нас не имеется к завтрашнему дню черного. Полученные доходы от сельхозналога... предприятиям должно использовать рационально, и их должно хватить для всех нужд государства».

На этом и других подобных документах резолюция областного начальства — «В ОГПУ»; в виде примечаний следуют справки о секретарях Смоленского обкома, руководителях облисполкома и ОГПУ, в основном завершивших свой жизненный путь в 1937—1938 годах...

Все это и многое другое удастся прочесть в Миланской библиотеке.

Эпилог

В последние дни, на одной из последних встреч, нас между прочим спрашивают:

— Согласны вы с тем, что между русскими и итальянцами большое сходство, что нам с вами легче ладить, чем с остальными народами?

Было отвечено: более века назад еще Александр Герцен, очень любивший Италию, заметил: русские и итальянцы, безусловно, сходны в том, что и в России, и в Италии быть бедным не стыдно!

Мы не беремся утверждать, что в Советской России в этом взгляде не произошло никаких изменений; ручаемся лишь, что стыд, агрессию вызывает и сегодня понятие «разбогатевший». Но вот у вас, в довольно процветающей Италии, стыдно или не стыдно сегодня быть бедным?

После некоторого молчания раздается решительный ответ:

— Стыдно, но все-таки не так, как во Франции.

И вот мы садимся в поезд и покидаем чудесную, веселую страну, размышляя о ее достоинствах, выискивая недостатки, радуясь, что эти люди (здесь цитируем Тонино Гуэрра) «живут хорошо, и это очень хорошо»; честно признаемся, что, беседуя с иным крепким крестьянином, мы переводили его биографию на язык наших последних десятилетий и воображали, что стало бы с ним где-нибудь под Тамбовом или на Дону в 1930—1933-м; или пылкий социалист, давний член коммунистической партии, горячо преданный ее идеям: где бы ты был в 1937-м?

Или смелый писатель, новатор-художник, толковый генетик: ах, не дай Бог вам 1946—1949-го...

Мы едем **оттуда сюда**, может быть, куда меньше открыв нового для себя в Италии, чем — в родной стране.

ЭЙДЕЛЬМАН Натан Яковлевич

ОТТУДА

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 22.03.90. Подписано к печати 17.05.90. А 00294. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,11. Тираж 150000 экз. Зак. № 2077. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.